ПОСТ

Автор:
Дмитрий Глуховский

ПОСТ

Дмитрий Алексеевич Глуховский

После короткой и яростной войны, в которой было использовано секретное оружие, от прежней России осталась лишь небольшая часть, которая называет себя Московской империей. Восточные границы её проходят всего в нескольких сотнях километров от столицы, по Волге – отравленной и зараженной, превратившейся в непреодолимую преграду. С самого Распада никто не приходил в Московию с той стороны моста через Волгу. Никогда – до этого дня…

Глуховский, Дмитрий

Пост

© Storyside, 2020

© Дмитрий Глуховский, 2020

?

Эта сторона

1.

– А что там, с той стороны моста?

Егор уже, наверное, в тысячный раз спрашивает это – и не устает, потому что ответ каждый раз – разный.

Огромный мост уходит в зеленую муть, в густой ядовитый туман, постепенно растворяется в нем и исчезает из вида полностью уже метров за двадцать от берега. Иногда ветер налетает на него, пытается разогнать – но не может.

Зеленая завеса приподнимается всего еще чуть-чуть – и за ней видно все то же: ржавые рельсы, ржавые балки и ржавые фермы, поросшие чем-то рыжим, будто водорослями, но не водорослями; чем-то, шевелящимся на ветру и без ветра.

Туман нельзя разогнать, потому что он поднимается от реки. Туман это дыхание самой реки – медленной, пенной – больной.

Реки с берега тоже не видно – бетонные быки моста сходят в нее где-то уже во мгле. Зато слышно ее хорошо и через туман – ее чавканье, хлюпанье, урчание. Кажется, что она живая, но это только кажется. Ничего живого там, внизу, нет. И ничто живое, попадая туда, не может там уцелеть. Деревянные лодки обугливаются, резиновые идут пузырями и лопаются. Местные по берегу и на пушечный выстрел к воде не подходят. И то сказать, одно слово – вода… Какая же эта вода?

По реке нельзя сплавляться – даже на баржах с железными боками. Те, кто отплывал по ней вниз, никогда не возвращался. И никогда никто не приплывал по ней к мосту сверху.

Поэтому и названия никакого реке теперь не нужно: река и река.

А раньше она называлась «Волга».

Егор не отстает:

– Ну так что?

– Что-то… Города какие-то, наверное. Такие же пустые, как вон наш Ярославль. Сам же знаешь, что спрашиваешь?

– Я-то как раз ничего не знаю. Это вы ж у нас все знаете, Сергей Петрович.

– Попробуй только нос на мост сунуть! Голову тебе оторву! Ясно тебе?!

– Мне-то ясно, Сергей Петрович. Я-то что – просто балда с гитарой. Это вы у нас целый комендант! Мне-то и не нужно этого знать. А вот как вы не интересуетесь – это вопрос! Вам же восточные рубежи империи оборонять!

Полкан смотрит на Егора хмуро. Трет лысину. Отодвигает в сторону стакан в серебряном железнодорожном подстаканнике. Рычит:

– А мне хватает того, что я знаю, понял ты, умник? От Москвы и на тот край света идет эта наша гребаная железная дорога. Но как по мне – она на нас и заканчивается, раз с той стороны уже столько лет никто не стучался. Каждый своим делом должен заниматься, ясно тебе? У каждого свой пост!

Полкан барабанит пальцами по столу, пытается придумать себе занятие, под предлогом которого мог бы вышвырнуть Егора из своего кабинета. Урок политинформации кончился, не начавшись.

Егор предлагает перемирие:

– Гитару отдай, я пойду.

– Хрена тебе, а не гитару, понял?! Иди историю учи, и потом рукопашный бой у тебя будет, а вечером поговорим про твою гитару! Раздолбайничать он хочет, а учиться он не хочет ни хрена! Географию империи иди учи! Что тебе та сторона уперлась, если ты и что с этой-то, в голову себе вбить не можешь!

А что с этой стороны?

Пустые дома, пустые улицы. Пустые жестянки брошенных машин. Кости ничейные – и порознь, и в обнимку. Дикие собаки.

Живых мест осталось мало. Разве что на постах, в станциях-крепостях сидят люди, прицепившись, прилепившись к железной дороге – и ощетинившись.

Полканов Пост, получается, сидит на железке самый крайний. Гарнизону велено охранять восточные подступы Московии, и гарнизон, верный присяге, стережет мост. Стережет то ли от бунтовщиков, то ли от кочевников, то ли от зверья – сейчас уже даже Полкан не скажет, от кого.

В учебниках истории, по которым Егора заставляют учиться, все заканчивается благостно: процветание, справедливость, вхождение в новую эру. Где эта эра накрылась медным тазом, туда учебник уже не достает. Нужно верить Полкану, который говорит, что народ взбеленился, предатели растащили страну по частям, а столица была слишком обескровлена, чтобы дальше держаться за отваливающиеся земли. Москва тогда, дескать, провела границу по отравленной ядовитой Волге, поставила на этом берегу Пост, про тот берег забыла, и занялась своими делами. Дел было еще невпроворот.

Была Россия – стала Московия.

Больше Егору знать и не полагается. Глядя Полкану в его свиные глаза, он говорит:

– Сдалась мне эта ваша география с историей. Екнулся старый мир, да и хер бы с ним. А гитару я все равно сопру. Не ты дарил, не тебе и отбирать, понял?!

Егор отодвигается потихоньку поближе к выходу, чтобы успеть вышмыгнуть, пока отяжелевший, закостеневший Полкан выберется из-за своего стола. Тот

натужно соображает, что именно Егор ему сейчас сказал; в конце концов трясет кулачищем:

– Гляди у меня, балда! На ночь за стеной оставлю, вот тогда увидим, какой ты храбрый! А балалайку твою в печку кину!

– Посмей только!

Но гоняться за Егором коменданту лень. А потом – зачем сейчас гоняться, если ночевать им все равно под одной крышей. Егор сам придет к нему в лапы, как миленький. Не за стеной же, в самом деле, спать! И Полкан, не вставая, рычит глухо:

– Не хочешь учиться – не учись! Семнадцать лет человеку, а он только бренчать хочет да шляться, а думать он не хочет ни о чем! Знаешь, что? Хочешь за мост – валяй, шагай! Отпускаю! Только никуда ты не пойдешь, ясно? Потому что никуда от мамки своей не денешься! Сидишь под юбкой у нее! Только мне хамить вон умеешь, а больше ничего не умеешь!

– Я под юбкой, а ты под каблуком! Сам-то ты что можешь? На жопе только сидеть и командовать! Что тут, много ума надо? Командир, блин!

– Пшел вон! Вон пшел отсюда!

Егору только этого и надо: довести Полкана до белого каления.

Он сует руки в карманы и скатывается по ступеням с верхнего этажа коммуны – вниз.

2.

Проскакивая второй, Егор тормозит у дерматиновой двери, у четвертой квартиры. Затаив дыхание, слушает – услышит ее голос? Нет?

Слух у Егора острый. Соседские разговоры слышит за стенкой дословно, слышит, как от китайцев подводы идут по собачьему лаю; слышит, на какую ноту свистит

чайник, а на какую воют волки. Мать говорит, это он в своего настоящего отца таким пошел. Идиотский, говорит, дар, ничего от него хорошего.

Нет. Не слышно ее. Слышно, как молится за дерматиновой дверью их старушенция, а больше ничего. Зря и останавливался. Упрекнув себя за мягкотелость, Егор прыгает через несколько ступеней и летит дальше вниз.

В подъезде забирает приставленный к стенке лонгборд.

Становится на колеса, но никуда не едет: смотрит в окна над собой. В окна второго этажа. Окна пустые; на секунду ему кажется, что за стеклом, как подо льдом, скользнула она – распущенные светлые волосы, худые загорелые плечи – даже прозрачные серые глаза видятся… Неужели прослушал ее, неужели пропустил? Егор вскидывает руку, машет стеклу и льду – неуверенно.

И тут же спиной чувствует взгляд.

Мишель стоит у гаражей и смотрит на него насмешливо и заранее устало – она не хочет даже начинать этот разговор: привет, как дела, у меня нормально – потому что лучше Егора понимает, что там, за этой словесной шелухой. Ей двадцать четыре, Егор для нее слишком мелок и недостаточно крут, хоть он и пасынок коменданта Поста. Егору семнадцать, у него уже, конечно, все было; но было только так – для порядка и для очистки совести, с китайской проституткой на Шанхае. А Мишель – звезда, принцесса, инопланетянка.

В руках у нее айфон: ее вечный старый айфон, с которым она не расстается ни на секунду. Мобильный, по которому нельзя никуда звонить, потому что сотовые сети упали давным-давно, в начале войны еще. Но он нужен Мишель не для того, чтобы звонить в настоящее. Он ей для связи с прошлым.

Егор шмыгает носом.

– Привет. Как дела?

Мишель смотрит на него – и он видит в ее взгляде что-то еще, не только вечную ее утомленность от Егоровых неумелых ухаживаний. Видит черноту – глаза перегорели. Она набирает воздуха, чтобы сдуть Егора из своего поля зрения, но

вместо этого говорит бессильно и как будто бы равнодушно:

– Телефон сдох.

– Это как сдох?

– Не знаю. Должно же было это когда-нибудь случиться.

Как будто равнодушно – но ее голос дрожит, и Мишель отворачивается от Егора, смотрит в пустоту за воротами.

Егор тогда пыжится, чтобы выглядеть и звучать как можно увереннее.

– Ну как-то, наверное, можно починить его!

Мишель смотрит на него внимательно, в упор. У Егора головокружение. Он слушает ее запах.

– Как? Я носила уже Кольке Кольцову. Он говорит – этому хана, был бы новый – можно было бы попытаться память перекинуть, а так…

– Ну тогда, – глупо улыбаясь, говорит Егор. – Добро пожаловать к нам на Пост, значит. Чувствуй себя, как дома. Тут у нас застава, там больница, а это школа. Нужники на улице – канализация не пашет…

Мишель скрещивает руки на груди. Голубая джинсовка съезжается, как панцирь. Она смотрит на него с ненавистью:

– Дебил. Не смешно.

Она отворачивается, сутулится и уходит. Егор потеет, улыбка превращается в судорогу, но слов, чтобы остановить Мишель, он найти не может. Сейчас он ее потеряет навсегда, совершенно точно потеряет. Он и сам с собой не стал бы после такого разговаривать, а уж Мишель… Дебил. Точно, дебил.

Надо что-то придумать срочно. Что угодно. Сейчас!

Он комкает слова, лепит сумбур:

– Я тут песню придумал… Написал… Хочешь, сыграю?

Слава богу, этого она уже не слышит.

3.

Мишель берется за дверную ручку очень осторожно: ручка скрипит, дверь скрипит, жирно лакированный сосновый паркет скрипит, все в этой проклятой квартире скрипит. Дед смеется, идешь, как по минному полю – не туда ступил, кранты. Бабка услышит и все, приехали. Дед про минные поля знает, в войну сапером служил.

В глубине квартиры пульсирует заунывное, скрипучим голосом:

Алый мрак в небесной черни

Начертил пожаром грань

Я пришел к твоей вечерне,

Полевая глухомань

Нелегка моя кошница

Но глаза синее дня

Знаю, мать-земля черница

Все мы тесная родня

Это бабка надрывно, с дешевым пафосом, бубнит своего Есенина. Твердит непослушными губами стихи, думает, что так память не потеряет.

И придем мы по равнинам

К правде сошьего креста

Светом книги голубиной

Напоить твои уста.

С порога шибает старческой кислятиной. Воздух густой, как вода. В солнечном луче вихрится золотая пыль – как планктон под фонарем ныряльщика. Причитания затихают.

Мишель делает шаг, другой – и из комнаты, конечно, слышится:

– Никита! Никита!

Мишель с досадой выпускает из себя воздух, набранный в легкие, чтобы парить над скрипучим паркетом.

– Никита! Это ты? Кто это?

Наконец, Мишель нехотя отзывается.

– Это я, баб!

– А дед где?

– На дежурстве он, баб!

Теперь нужно войти к ней поскорее, потому что иначе бабка может испугаться и еще расплачется, чего доброго. До инсульта она была кремень, и даже когда ее родная дочь сгинула в отключенной от связи Москве, она при внучке не плакала. А теперь вот чуть что – сразу в слезы, беспомощные и обиженные слезы.

У бабки все отнялось, кроме правой руки. Она приподнимает голову, тянется навстречу Мишель, тревожно хмурится – а потом узнает Мишель, улыбается ей и бросает голову на подушку. И просит настойчиво, но по-детски настойчиво.

– Деда найдешь мне?

– Он отдежурит и придет, ба! Он тебе зачем? Тебе судно поменять? Подмыть? Давай, я сделаю!

Мишель говорит нарочито спокойно. Но получается как будто зло. Мишель спрашивает себя – слышит бабка в ее голосе эту злость или не слышит? Было бы стыдно, если услышала бы.

– Нет, внучка, нет. Спасибо.

– А зачем?

– Ни зачем. Я подожду его. Я подожду.

Бабка пытается улыбнуться Мишель благодарно, но левая половина рта у нее неживая, и вместо улыбки получается ухмылка.

Вся комната заставлена старьем. В буфете какие-то печальные собачки со сколотыми ушами, фарфоровые мальчики в матросках со стертыми глазами, на шифоньере ящики с неизвестным барахлом, все в пылище.

От кислятины глаза слезятся. Трудно возвращаться сюда с улицы.

Мишель поскорее уходит, притворяет к бабке дверь, и слышит, как та опять принимается читать нараспев:

Белая береза

Под моим окном

Принакрылась снегом

Точно серебром

Мишель, конечно, знает, зачем бабке ее Никита. Наизусть знает, какие разговоры она собирается с ним заводить. Ей жалко бабку, но деда ей еще жальче, и поэтому она даже и не пойдет его искать, и не станет ему рассказывать, что бабка его звала.

Она заходит в кухоньку, закрывает дверь поплотнее, садится на свою табуретку, выуживает в кармане наушники, чтобы заглушить бабкино бормотание музыкой, достает свой телефон – и только тут вспоминает, что тот сдох.

Мишель по привычке, по инерции смотрит в перегоревший черный экран, но видит там только себя саму. А раньше там был весь мир – весь ее довоенный московский мир. Родители – живые, пятикомнатная квартира в центре и дом за городом, отмытые до блеска проспекты и выложенные брусчаткой улицы, расфуфыренные школьные друзья, кафе с угодливыми официантами и самыми фантастическими блюдами.

И еще видео с хохочущими людьми. И видео с отцовскими наставлениями.

И еще много музыки – саундтрек ко всей ее прежней московской жизни. Все эти годы на Посту Мишель не вынимала наушники из ушей: слушала все свое прежнее, пыталась наложить старую свою роскошную музыку на новую убогую картинку. Клеилось плохо, но всегда можно было закрыть глаза.

Теперь вот пришлось открывать.

4.

Полкан выходит во двор и оглядывает свою крепость.

Крепость для гарнизона слишком велика – зато лучше места для нее было не придумать. До Распада тут располагался Ярославский шинный завод; огромная территория с тех пор еще была обнесена бетонным забором с колючкой поверх, на въездах еще прежними владельцами были устроены КПП, а огромные чадные трубы могли бы стать такими дозорными башнями, с которых тот берег было бы видно до самого горизонта через любой туман – да вот только по ним наводились бомбардировщики, поэтому долго они не простояли.

А теперь охрана обходит все эти гектары раз в день, овчарки обнюхивают периметр, проверяют – не подкопался ли кто под забор, не перемахнул ли – приближаются к темным кирпичным заводским корпусам, и затемно возвращаются обратно в коммуну.

Коммуна стоит с самого края завода: две малоэтажных панельки, гаражи, дворик. Одна раньше была административным зданием, другая была нафарширована шаблонными квартирками, в которых жили себе от кредита до зарплаты нормальные люди, многие из них шинники – получили тут жилье за

выслугу своих резиновых лет – а кто-то и случайные граждане, купившие квадратные метры с видом на рельсы по рыночной цене.

Когда нормальная жизнь гикнулась вместе с кредитами и зарплатами, а российское человечество сильно поредело, граница известного и обитаемого мира была перенесена ближе к столице и теперь проходила как раз по реке. А уцелевшие собрались снова вместе. Их уже немного оставалось, так что делить им было особо нечего; куковать одним в своих старых квартирах – без окон, а иногда и без стен – было и тоскливо, и опасно. Человек человека греет все-таки…

И вот они, как очутившиеся зимой в лесу без костра, сгрудились на Посту, на бывшем шинном заводе, спрятались за его бетонными заборами, обжили его общагу и административное здание, в гаражах наладили какие-то мастерские, поставили сторожевые башенки, присягнули на верность Московии и стали как-то существовать далее – на самом краю мироздания.

Земля, кажется, все еще оставалась круглой, но верили теперь в это не все, а научные споры вести было и вовсе некому. Геополитическая карта стала меньше, а темных пятен на ней – больше; даже, собственно, Ярославль, по-хорошему, надо было бы на этой карте перерисовать, да только в город никого было не выгнать.

Квартиры превратились в конторы, из одной сделали клуб, из другой – столовую, в третьей разместили медпункт, а в четвертой детский сад и школу разом – потому что дети упрямо рождались: жизнь-то шла своим чередом, и те, кто потерял на войне свои первые семьи, тянулись к друг другу за утешением и забытьем. Сильней любви только клей шибает – но клей еще добыть надо, а любовь всегда с собой.

От Полкана первая жена уехала куда-то, кажется, в Королев, еще до Распада. Полкан тогда рулил отделением полиции по Ленинскому району, домой возвращался на рогах, жену третировал и даже поколачивал, и однажды она просто исчезла, оставив ему объяснительную. Детей у них не было, развода он ей поклялся не давать, но разыскивать не поехал – хотя мог бы воспользоваться служебным положением. А потом как раз счастливой новой эре настал каюк, и все документы старой России перестали действовать.

Полкан тогда заприметил Тамару. Но Тамара была не одна, с ней в комплекте шел Егор. Как Полкан не думал искать свою первую жену, так и Тамара не ждала Егорова отца. Тамара каким-то образом твердо знала, что его на этом свете уже нет, а поэтому от обязательств она свободна. Тамара многие вещи знала, просто знала – и все.

«Заприметил» – это Полкан сам так сказал ей. А те, кто видел, как все происходило, определили это по-другому: «Голову потерял». Тамара была, конечно, для своего возраста очень красива. Но в то, что Полкан ее, цыганку, готов полюбить всерьез, а не на вечер, и в особенности в то, что он захочет, как родного, воспитывать цыганенка, она не верила.

Полгода он добивался ее, унижался, подвергал унылым ментовским ухаживаниям и клялся, что станет Егору папкой – при том, что был не последним женихом для разведенной сорокалетней женщины: он уже тогда был командиром заставы, которая и превратилась в Пост.

Через месяц после того, как Тамара согласилась с ним сойтись, Полкан стал пить меньше; на новую жену руки не подымал.

Никаким папкой он Егору так и не стал, а Егор не стал ему сыном.

В отличие от Тамары, Егор в смерти пропащего своего родного отца уверен не был. Он и похож был, видимо, на него – скулами и раскосыми серыми глазами. Ни смуглости материнской в нем не было, ни черных ее волос.

Но уж точно никому никогда и в голову не приходило, что Егор мог бы быть сыном Полкана – кряжистого, брыластого, с башкой, растущей прямо из плеч.

Из уважения к Полкану Егора «цыганенком» на Посту даже за глаза никто не называл.

Называли «Полканов выкормыш».

5.

Егор глядит на алые силуэты панельных домов, которые маячат над путями. Там гниет город Ярославль. Сгонять туда? Может, повезет.

Здорово было бы вот так вот запросто взять и найти мобильник. Найти айфон и принести ей, вручить ей с таким видом, как будто ничего такого в этом особенного нет: вот, у меня, кстати, завалялся старый, решил тебе его слить, твой же вроде сдох, да?

Или нет.

Или лучше уже описать все приключения, с которыми ему этот телефон достался. Как трудно было выбраться с Поста, что пришлось наврать охране, по чьей наводке он попал в ту самую квартиру, где у мертвых жильцов был припрятан не распакованный еще, новенький айфон. Новый было бы круче, чтоб прямо в коробке; это Мишель точно бы оценила!

Можно отпроситься у охраны на воротах, соврав, что Полкан его отправил с заданием на заставу, но они могут начать звонить отчиму, а тот наябедничает матери, а мать устроит истерику, что Егорушка опять напрасно подвергает себя чудовищным опасностям. Как по ней, лучше было бы, если бы он сидел круглые сутки во дворе на лавочке и палочку ножиком строгал.

В полуобрушенных заводских корпусах есть бомбоубежище. Начинается оно на территории завода, но выходит подземными катакомбами за ее пределы. В коридоре есть тяжеленная чугунная дверь с замком-вентилем, как на подлодке. Это – Егоров личный тайный ход, кроме него, никому не известный.

Кроме него и Полкана. Когда-то тот, пытаясь с Егором подружиться, открыл ему это под большим секретом. Для дружбы этого не хватило.

Егор берет в караулке короткий семьдесят четвертый, в бомбоубежище находит припрятанный противогаз, выбирается за стену, становится на свой лонгборд и катит вдоль путей до города. Ветка доходит как раз до Ленинского района, бывшей Полкановой вотчины.

За воротами КПП можно по Советской ехать, а можно по Республиканскому проезду – и то, и то ведет от реки внутрь города.

Ярославль город обычный: тут сталинка, тут панелька, тут трехэтажная стекляшка ТЦ, тут карусель, тут помойка, тут памятник Ленину в голубином дерьме, тут церковь обшелушенная. Машины ржавые в вечной пробке – как банки из-под шпрот; перекати-поле и коряги какие-то, которые до войны считались деревьями, а после войны без присмотра обезумели и разрослись, как придется.

Нынешние обитатели Поста в город ходить не любят; если только в Родительскую субботу, вместо кладбища. Придут, потолкутся, повздыхают, разопьют по-быстрому пузырь. Посмотрят в слепые окна, повспоминают, какая раньше жизнь была, посмеются над бедами, которые тогда казались страшными, поплачут потихоньку над теми, кого не воротить – вот и вся программа.

А Егору Ярославль по кайфу. Тут доска нормально едет.

Хороший здесь асфальт, дыбится только местами, где-то корни взламывают серую корку, где-то воронки от снарядов – но так ехать даже веселей.

Зря мать параноит – в городе ничего такого уж опасного нет, от чего не спас бы укороченный ментовской калаш. После войны лес, конечно, стал подбираться ближе к домам, и окраины все заглотил. А вместе с лесом надвинулись на город и всякие лесные обитатели. Кто думал, что в войну вся шушера вымрет, ошибался. Но это все просто животные: человека они стараются обходить стороной, оружейное масло и порох чувствуют в воздухе за километр, а жрут, главным образом, друг друга.

Может, по ту сторону реки все и кишит какими-нибудь чудовищами – но через реку они, как и люди, перебраться не могут.

Егор катит под путями к автобусному парку, мимо приплавленных к асфальту автобусов гармошками – к сгоревшему торговому центру с почему-то уцелевшей вывеской «Игрушки».

Он знает, где тут раньше был салон сотовой связи: на первом этаже, за фудкортом. Мобильные раньше были самым ходовым товаром, у каждого была трубка. Куда же, черт их дери, теперь-то все подевались?

Он въезжает на скейте прямо внутрь; в потолке зияет дыра, через нее падают внутрь бледный свет и жухлые листья. Черные магазины стоят пустые. В ТЦ, конечно, все уже сто лет как разграблено – как только началась война, народ тут же и вынес его, и никакие приказы стрелять по мародерам не сработали.

Сгоревшее кафе, сгоревшая блинная, сгоревшая бургерная.

Вот он: черно-желтый салон с оплавленной девушкой на постере: половина лица улыбается, половина обуглена.

Егор ворошит носком сапога горелые пластмаски, заходит в темную подсобку. Конечно, ничего. Капает откуда-то вода, ветер дует в трубы, как в свирель. Шуршат крысы. Егор бессознательно раскладывает капель по нотам, слова придумываются сами:

Ветер дует в трубы, как в свирель

У него обветренные губы

Ртутная тяжелая капель

Нудная, дурная канитель

Тик, так, тик. Гадаю: любит ли?

Не любит?

Егор останавливается, не спускает глаза с оплавленной девушки, кладет пальцы на деку отобранной Полканом гитары, перебирает воздух, подбирает аккорды; потом, так и не закончив, бросает.

Становится на свою доску и катится дальше; не хочется возвращаться домой с пустыми руками.

6.

Там, где мост приходит на этот берег, стоит застава. Наворочено мешков с грунтом, разложен костер, сидят у костра люди. Проброшен телефонный кабель до самого Поста: если вдруг на мосту кто появится, можно будет немедленно

звонить в караулку или сразу Полкану. Но на мосту сто лет никого не было, поэтому на дежурство сюда мужики ходят полирнуть дневные сплетни самогоном: ночами прохладно, и начальство не запрещает.

Застава устроена на таком расстоянии, чтобы людям не приходилось дышать речными испарениями. Туман густой, тяжелый и как будто сделан из каучука: далеко от реки его не относит, тянет его обратно к воде. Если посветить фонарем вперед, луч влипает в ядовито-зеленую гущу, сразу теряет силу и даже на пару шагов не может пробиться вглубь – преломляется и расходится во все стороны ровно. Тогда кажется, что туман это мягкая, но непреодолимая стена. Как будто стенка пузыря, в котором находятся и Пост, да и вся остальная Московия. А за стенкой этой, может, летают в пустоте всякие галактики, а может, и нету ничего. Наверное, ничего нету, раз ничего не видно.

– Ну… Ленка Рыжая, понятное дело. Скажи лучше, кто ей не нравится, проще будет. На Ленке у нас все и держится!

Мужики смеются. Рыжий Колька Кольцов придает себе решительный вид.

– А я бы вот с Мишелью замутил!

– Хо-хо! С Мишелью! Слышали, чуваки?

– Мишень: Мишель!

– С ней бы кто хочешь замутил бы! Ты уж лучше, Коляныч, к Ленке Рыжей сходи, или на Шанхай сгоняй. А то, пока будешь ждать Мишель свою, гляди, лопнешь!

Люди в заставе любят разговаривать. Потому что, когда замолкаешь, слышно становится, как разговаривает сама с собой река – урчит, клокочет, как будто переваривает кого-то, а иной раз издает такие звуки, которые вообще нельзя человеческим языком описать.

Ямщиков вдруг натурально вздрагивает и тычет припавшего к горлышку Антончика в плечо. Озирается испуганно на мост.

– А не бормочет там кто-то, слышишь?

Антончик отрывается от фляжки, тоже настораживается. Оборачивается на Ямщикова. Вид у него настолько встревоженный, что Ямщиков довольно всхохатывает: удалось напугать парня. В который раз удалось! Тот бурчит:

– Да иди ты! Чуть не подавился из-за тебя! Глотку обжег!

Антончик завинчивает фляжку, передумав угощать Ямщикова. Тот все равно ржет. Знает, что Антон этих застав по какой-то необъяснимой причине боится. Все об этом знают, и все сговорились Антончика обязательно хоть раз за дежурство да разыграть. С развлечениями на Посту скупо, сгодится и это.

– Ну реально похоже ведь, нет? А теперь – вот послушай, послушай – как будто кто-то хрипит там. А? А?

7.

Пока Егор доезжает до блочной многоэтажки, Ярославль успевает, как губка, напитаться темнотой. Входя в подъезд, Егор включает фонарь.

В подъезде наметено листвы, валяются чьи-то скелетики и засохшие кучки дерьма, в углу у мусоропровода натаскано плесневелых ватников и скручено в черт знает чье гнездо – но видно, что вся эта жизнь тут проистекла давно и давно выдохлась. Лифты стоят, в кабинах темно.

Егор поднимается от этажа к этажу, дергая дверные ручки брошенных квартир.

Иногда ему чудится, что в квартирах что-то движется; но это, наверное, ветер хлопает оконными ставнями и дверцами кухонных шкафчиков.

Егор находит незапертую квартиру, пробирается внутрь.

За кухонным столом сидит мумия в осенней ветровке. Руки черные, скрюченные, лежат на столе. Глаза птицы съели.

Егор садится напротив.

– Привет. Как дела?

– Ну так. Не особо. Со зрением херня какая-то.

– М-да. Жесть. А так – что нового?

– Да какое новое, брат. Из дома не выхожу.

– Ну, так-то, ты ничего и не пропустил. Там, снаружи, тоже без изменений.

– Москва как, стоит?

– Стоит, куда денется.

– А за мостом какие новости?

– Никаких. Не напишут, не позвонят. Тебя как звать-то?

– Семен. Семен Семенович. А тебя?

– А меня Егором. Егор Батькович.

– Ну спасибо, что проведал, Егор Батькович. Раз в пять лет кто зайдет – мне уже радость.

– Да мне не трудно, я тут рядом живу. Слушай, Семен, а ты не против, если я у тебя карманы гляну? Мне тут айфон нужно позарез. У одной телочки сломался, и я вот короче… Подарить ей хотел.

– А че, красивая телочка-то?

– Телочка вообще огонь. Но на меня болт клала. Типа, я мелкий, и все такое.

Ну, блин. Так-то мне эта тема не очень, когда мне по карманам лазают. Но если прям красивая…

– Прям красивая. Реально.

– Ну ладно тогда. Лезь.

– А ты… Семен Семенович. Ты от чего умер-то? Ты это… Не заразный какой-нибудь?

– Да нет, вроде. Зараза столько лет все равно не живет. Да ты лезь смело, на крайняк, потом руки помоешь.

– Ладно. Спасибо. Я аккуратно.

Егор лезет в карманы к Семену Семеновичу, тот старается держаться прямо. Карманы у него пустые. Егор тогда отряхивает руки, обходит квартиру, залезает в шкафы, но у Семена Семеновича дома хоть шаром покати.

Егор заглядывает еще в две другие квартиры.

Тут все вверх дном. Шкафы и серванты выпотрошены, все их содержимое вывалено на пол и будто растоптано, самой мебели нигде не видно. Валяются книги с вырванными страницами, под ногами хрустит хрустальная крошка от битых рюмок и фужеров.

Город за окном становится из алого сизым: солнце закатывается.

Пора возвращаться.

Егор закидывает калаш на плечо и катится по растрескавшемуся асфальту.

8.

– Деда, пойдем домой!

Мишель глядит на деда Никиту одновременно просительно и строго; старый Никита показывает ей свой стакан, который наполовину полон.

– Еще не время!

– Это она тебя зовет. Заснуть не может.

Никита обводит присутствующих унылым взглядом. Другие два старых хрыча, давние его друзья, еще заводские, понимающе вздыхают: дескать, прости и прощай, дорогой товарищ. Наспех чокаются, глотают мутный самогон (Мишель зовет его «крафт»), и Никита с кряхтением поднимается со своего насеста. Опирается на внучку, идет не без труда – полстакана в нем бродит.

– Что говорит?

– Ну, что-что? Где дед – это раз. Ну и «Березу» по кругу.

У входа в подъезд они оба переглядываются еще раз, и вдруг Мишель хватает Никиту за рукав.

– Я больше тут не могу, деда.

– Опять двадцать пять.

– Правда, не могу. Я тут сдохну.

– Ну вот прямо и сдохнешь!

– Я тебе серьезно говорю.

– И я тебе серьезно, Мишелька. Сама подумай: если бы твои родители были бы до сих пор живы – да неужели бы они тебя не забрали? Твой отец в тебе души не чаял! Ты у него с шеи не слезала, он тебя ножками побегать на минуту не отпускал… Сколько лет прошло – и ни слуху, ни духу. Ну это тебе о чем-нибудь говорит?

Мишель набирает воздуха в легкие. Сколько раз их разговор упирался именно в это: в ее упрямое нежелание допустить, что родителей давным-давно нет. Она поднимает глаза на деда.

– Ну и че? Ну ладно, ну умерли они. И че?

– И кому ты там нужна тогда?

– Дяде Мише. Тете Саше.

– Позвонить они могли за столько лет, дядя Миша? Не звонили же.

– Ну и ладно! И все равно!

– Пойдем, Мишель. Пойдем домой.

Она мотает головой, но по лестнице за ним наверх все-таки бредет. Навстречу им соседи, из распахнутых дверей хлещет свет, слышны детские смех и плач, ругаются какие-то муж с женой, не думая даже закрыться. Коммуна так потому и называется, что вся она – одна коммуналка на четыре этажа. Какие уж тут секреты друг от друга. Какая тут личная жизнь.

Дверь, конечно, скрипит, и бабка сразу слышит этот скрип.

– Никита! Ты? Никита!

– Я, Маруся, я.

– Пойди ко мне. Пойди. Поговорить хочу.

Мишель садится в кухне и глядит в стену. Хочется достать телефон: без телефона хоть вешайся.

– Что ты, Маруся?

– Я повенчаться с тобой хочу. Хочу повенчаться, Никита.

– Куда нам уже, Марусь?

– Надо повенчаться, Никита. Мне скоро помирать, а мы не повенчаны. Не найдемся друг с другом на том свете. Мне там одной тоскливо будет. Тебе разве нет?

– Будет, Марусенька. Я, может, к тебе в рай-то и не попаду еще.

– Тьфу тебя! Опять пил?

– Вот именно. А алкоголиков туда не берут, по-моему. Там твой Михаил Архангел скажет мне: «Ну-ка, дыхни!» И не пустит. Или кто там на воротах? Михаил или Гавриил?

– Зря ты так! Дурак!

Бабка всхлипывает, плачет. Мишель поднимается, прислоняется лбом к холодному стеклу; смотрит во двор.

– Ну прости меня, дурацкая шутка, согласен. Да кто нас повенчает, Марусь? Тут отпеть-то стариков некому, а ты «венчание». Полкана вон, что ль, попросить?

– Дурак!

9.

– Слышь, Ямщик… Ну-ка… Посвети, а?

– Куда тебе посветить?

Ямщиков ржет, но Антончика это больше не успокаивает. Он не сводит глаз с клокочущей пелены, за которой прячется неизвестной длины мост. В ней будто что-то на самом деле шевелится, набухает, растет. Приближается.

Антончику двадцать шесть, глаза у него молодые, читать он не любит, а стреляет снайперски. А Ямщиков, хоть и на кабана в лес может с ножом пойти – такой бесстрашный человек – подслеповат.

– Туда вон посвети, ну! На мост.

– На мост?

Ямщиков опять хохочет, и тогда Антончик вырывает у него фонарь, и наводит желтый луч на зеленую стену.

– Вон! Не видишь, что ли?!

Руки у него трясутся, фонарь в них скачет, и луч, к туманной завесе уже совсем находящийся на излете, ослабший, то и дело соскальзывает со сгустка темноты, который прорисовывается в зеленой пелене.

Но сгусток этот растет, и через короткое время его замечают все остальные, даже и близорукий Ямщиков, который до последнего считал, что на этот раз разыгрывают его.

Клейкий туман пристает к нему, облепляет, не дает понять очертания. Движется оно странно, неровно, будто ползет толчками, рывками – да еще и раскачивается из стороны в сторону. Ростом оно, должно быть, не меньше двух с половиной метров, а то и все три. Длинное худое тело вроде бы венчает громадная голова.

Люди на заставе просто наблюдают за тем, как оно приближается к ним – наблюдают зачарованно, словно все инструкции разом вылетели у них из головы. Они не могут отвыкнуть от мысли, что с той стороны моста ничего не может быть, что оттуда никто не может к ним пожаловать. Никто и ничто.

И только когда оно уже в полный рост маячит сквозь зеленую плеву, когда становится окончательно ясно, что все это происходит на самом деле, Ямщиков словно просыпается и орет:

– Стой, кто идет!

Но это существо не останавливается – оно продолжает переть на заставу упрямо: вот оно уже на шаг ближе, еще на шаг, еще, еще, еще.

Ямщиков нашаривает автомат, ствол наставляет на низкое пасмурное небо – облака распластаны на невидимом стекле прямо над головами – и палит в него одиночными. Стекло не бьется, небо не падает, существо это продолжает брести прямо на них. Ямщиков ревет:

– Стрелять буду!

Но Антончик забирает у него автомат.

– Дай мне. А ты посвети-ка лучше…

Ямщиков направляет прыгающий луч на приближающуюся фигуру. Глазастый Антончик ловит ее на мушку. Она все еще окутана зеленым шлейфом, но в такую башку сложно не попасть.

Антончик делает вдох, делает выдох – и с колена палит короткой очередью твари в ее огромную голову.

Пули не останавливают ее и даже не задерживают ни на секунду – как будто бы Антончик мог промахнуться… Или словно это создание заговорено от пуль. Оно продолжает идти – мерно, упрямо, равнодушно.

– В ружье! В ружье!

Ямщиков хватает трубку телефона: звонить на Пост, успеть предупредить хотя бы их.

И тут эта фигура, вылупляясь окончательно из тумана, подает голос.

Заунывный, гундосый, как будто бы человеческий – но нет, совсем не человеческий – вой.

10.

– Где Егор?

Полкан сидит, Тамара стоит над ним – высокая, худая, черные с серебряной нитью волосы собраны в тугой хвост, серебряный крестик выпростался из ворота. Полкан жмет плечами.

– Ну шляется где-то он, Егор твой. Почем я знаю?

– Ты отпускал его за ограду?

– Никуда я никого не отпускал! Нахамил мне и свалил, ты что, не знаешь его?

– Его нет во дворе.

– И что? Вон – по заводу, может, на доске на своей кататься пошел.

Тамара выпрямляется.

– Я сон видела. Что нам угроза. Оттуда, с той стороны.

– С какой стороны, Тамарочка?

– Из-за моста. Змея приползет. Змей…

– Ага. Змей, принято.

Полкан со скрежетом отодвигается назад, шагает к плите, поднимает крышку с кастрюли. Из угла на него глядит томный Никола Чудотворец в жестяном окладе, а с прикроватной тумбочки зыркает Матрона Московская, черно-белая, не иконописная, а сфотографированная еще при жизни, и поэтому никакая не благостная, а, как и полагается живым людям, злая и настороженная. Весь дом в этих иконах, хуже церкви.

– Змей… Приползет змей, принесет погибель.

Глаза у Тамары сузились, она буравит ими Полкана. Он деланно зевает:

– Опять что-то у тебя идет, опять что-то несет! Ну Тамара! Ну ты-то! Давай хоть ты перестанешь нести это все! Змей! Фигуральный хотя бы змей, или прямо буквальный? Ох-хо-хо! А что, добавочки-то нет, говоришь?

– Боюсь за Егора. Он тоже там во сне был, и так нехорошо…

– Ну хватит ты уже брехать! Брехать, каркать! Не знаю, как это все называется! Нормально все с ним, пошляется и вернется, ну?! Ты мне скажи лучше, почему так рагу этого твоего мало? Или ты это на нас двоих только сготовила?

– Мальчик мой… Мальчик мой…

Тамара закатывает глаза и оседает на пол. Полкан бросает тарелку, отшвыривает стул, успевает схватить жену под руки, чтобы не дать ей удариться.

– Вот накрутишь себя вечно! Сколько можно-то так! А? И свои нервы мотать, и мои еще! Тамар! Тамара! Пожалуйста, еб твою мать!

И тут вдалеке ухает, и стекла в их доме начинают звенеть.

11.

Егор подлетает к заставе снизу по асфальтовой дороге, бросает доску и продирается через кусты к путям, собирая с жухлого репейника серые колючки.

– Держитесь, мужики! Я иду! Я тут!

Хорошо, что был рядом, когда на заставе застрекотало.

Хорошо, что еще не успел вернуться на Пост. Успел! Успел ведь?

Он пробирается наконец через заросли, перехватывает поудобнее рукоять, оглядывается бешено вокруг – кто стрелял, кто напал?!

Дозорные на заставе опустили автоматы.

Они всматриваются в туман перед собой остолбенело – теперь по-настоящему завороженно.

Пошатываясь, ссутулившись, на них упрямо идет оно… он. Идет и… нет, не воет, а поет.

– Гоооооспоооди, помиииииилуй…

Теперь эти слова совсем отчетливы; когда он пропел их в первый раз, было ничего не разобрать – и теперь-то ясно, почему.

На нем рваная хламида черного цвета, разорванная на груди. Лохмотья раздуваются, как парус, искажая очертания. Пляшет тяжелый железный крест на цепи, отскакивает от ребер, замахивается и лупит по ним снова – шаг за шагом.

– Гоооооспоооди, помиииииилуй!..

А то, что можно было принять сквозь туман за огромную голову существа – истерзанная грязная хоругвь, с самодельным ликом какого-то седобородого старца – усталого, страдающего, с грудью, навылет пробитой тут и там автоматным свинцом.

Пока он одолевает последние десятки метров до заставы, люди шепчутся.

– Как он через мост-то прошел?

– В него очередями палят, а он прет и прет…

– Гоооооспоооди, помиииииилуй!!!

Вот; теперь видно все.

В одной руке у него болтается зеленый кондовый противогаз с грязными стеклами: через него и дышал, пока шел по мосту. Так и перебрался. Пока пел через гундосый противогазный хобот, казалось, что зверюга воет.

Лицо иссечено, руки иссечены, грудь в шрамах. Глаза белые-белые, навыкате, смотрит, не моргая. На ногах стоптанные кроссовки, бурые от крови. Борода клочками. Больше на лице ничего не разобрать – сплошь корка из грязи и запекшейся сукровицы.

– Эй! Ты кто такой? Ты откуда?

Человек ничего не отвечает им.

Он застывает в пяти шагах от столпившихся перед бруствером дозорных. Опускает задеревеневшей рукой хоругвь – и устанавливает ее в гальку, которой пересыпаны железнодорожные пути.

А потом обессиленно опускается на колени и заваливается набок.

От ворот Поста бегут люди – Полкан с охраной – окружают гостя, обыскивают – оружия, вроде, при нем нет; тогда его подымают за руки-за ноги и тащат внутрь. Полкан распоряжается класть в лазарет.

Егор, воспользовавшись всеобщей суматохой, приближается к мосту, насколько можно – пока туман не принимается есть глаза, и от кислого его дыхания не начинает драть глотку. Он всматривается в клокочущее зеленое варево, вслушивается в него…

Иной раз кажется, что там, впереди, кто-то бормочет… А иной раз – будто хрипит, задыхаясь. Но, кроме странного гостя, эту пелену больше не может прорвать никто.

– Егор! А ну ка! Живо домой пошел!

Обжигает и оглушает затрещина.

Полкан хватает его клешней за шею и оттаскивает от жерла.

Егор матерится невнятно, но сейчас спорить с Полканом не решается. Ничего, потом сочтемся.

Сам Полкан, отослав всех вон, сам еще медлит, задерживается на краю моста. Харкает зло в его сторону и только после этого возвращается домой.

Та сторона

1.

Фаина, главврач и единственный вообще врач постового лазарета, снимает трубку и произносит в нее:

– Да, Сергей Петрович. Фая это. Нет, пока не очнулся. Отравление у него. Противогаз-то совсем старый, вот и надышался все-таки от реки. Лепечет что-то, но ничего не разобрать. Да, буду продолжать. Нет, глаз не спущу. Спасибо. Я понимаю.

Все койки в лазарете стоят пустые, и только на одной, скрючившись под байковым одеялом, лежит худющий, изможденный человек. Руки у него исцарапаны, ноги все в синяках, на предплечьях порезы, спина вспухла от свежих ссадин, которые только-только начинают закрываться. Кажется, что он весь – одна сплошная кровоточащая или рана, или язва. Но в начале, когда человека сюда только принесли, этого не было видно – такая толстая короста грязи покрывала и его лицо, и его тело.

Сейчас короста сошла, и стало можно догадываться, сколько этому человеку лет: немногим больше тридцати. Точнее трудно определить, потому что лицо обветрено и всегда наморщено. Но в жидкой, как будто никогда не стриженной бороде – ни одного седого волоса. Борода русая, и голова тоже русая, а какого цвета глаза, врач не знает, потому что глаз человек ни разу еще не открыл.

Зрачки мечутся под тонкими веками в красных прожилках, человек крутится в постели и стонет, с кем-то спорит, испуганно вскрикивает, потом вдруг начинает нести какую-то несусветную чушь. Тогда врачица, выполняя полученный от

начальства приказ, склоняется над спящим, и мягко, ласково, спрашивает у него:

– Как зовут-то тебя?

Человек не реагирует на ее вопрос никак. Но через некоторое время до него как будто доходит, и он начинает что-то мямлить. А замолкает, так и не договорив. Фаина напряженно вслушивается, потом вздыхает и продолжает:

– Откуда идешь?

Ее вопрос не может прорвать мембрану его сна, не может достать его из забытья. Он замирает, а потом как-то весь подбирается, прячет голову в руки, хочет весь уместиться под одеялом. Иногда его начинает колотить озноб.

Фаине жалко его, за эти несколько дней она уже к нему привыкла. Назвала про себя Алешей. Решила, что Алеша человек не злой, но пострадавший и напуганный, и теперь ему сочувствует. Фаине видно, что Алеше тревожно, но отступиться и оставить его в покое она не может – Полкан велел не отставать, пока пришлый или не очнется, или не выдаст себя во сне.

– Что ты видишь вокруг себя?

Что-то он видит, но рассказать ей не хочет. Только крутится, крутится в постели. Тогда Фаина гладит его высокий горячий лоб своей рукой, разлепляет склеившиеся волосы, успокаивает:

– Тихо-тихо-тихо…

И он вроде бы слушается, затихает.

Врачица идет ставить себе чайник, потом достает из шкафа подаренный на прошлый Новый год почти не тронутый плесенью сборник судоку и садится решать.

Звук из палаты отрывает ее на середине третьего задания. Она вскакивает и шаркающим бегом возвращается к койке, в которой лежит ее единственный

больной.

Он разметал все простыни, его колотит озноб, а в руке он сжимает пойманный нательный крест – так сильно, что пальцы побелели.

Глаза у него открыты.

2.

Полкан звонил в лазарет не по доброй воле. Ему самому, может, и плевать на этого попа. Но с тех пор, как он известил Москву о том, что за столько лет через мост впервые перебралась живая душа, по ту сторону провода словно с цепи сорвались.

Телефон прямой связи со столицей, китайская бежевая трубка с кудрявым проводом и наклейкой, линялым двуглавым орлом при короне, пиликает утром и вечером. Пост отвечает за отрезок кабеля до следующей станции. Иной раз его воруют, иной раз перегрызают, но в целом соединение с Москвой работает исправно. Общаться разрешено исключительно по проводной линии – радиоприемники под запретом еще с самой войны, чтобы враги не подслушивали. Только вот раньше из Москвы сюда набирали редко – и всякий раз по особо важным делам. Раньше Москву вполне устраивало, что на Посту ничего не происходит.

Полкан глядит на часы: десять утра.

Звонок не задерживается ни на минуту.

Он поднимает трубку и таким голосом, каким сторожевые собаки на воротах разговаривают, отвечает:

– Ярославский пост! Пирогов! Слушаю!

– Это Покровский. Нет новостей?

– Нету, Константин Сергеевич. Без сознания.

– А люди наши не прибыли еще?

– Какие люди, Константин Сергеевич?

– Вам не сказали? Все секретничают. В вашем направлении выбыл отряд. С заданием. Вот уже должны у вас быть.

– Это по поводу нашего, так сказать, гостя?

– Все узнаете, когда надо будет.

– Так точно.

– Ну вот. Встречайте, значит. И лишнего не болтать.

– Понял.

– Все, отбой.

– Погодите, Константин Сергеевич! Вопросик еще. Мы тут поставочку ждем. У нас как бы… Ну, мясные консервы на исходе. Да и с крупами плохо…

– А какое это отношение ко мне имеет? Вы по части продовольствия с соответствующим департаментом решайте. Служба тыла. Я-то тут при чем?

Трубка бухтит недовольно; Полкан утирает лоб рукавом.

– С соответствующими мы уже пытались… А вот люди, которые едут к нам… Они ничего для нас не везут?

– У них и спросите. До связи.

Пошли гудки.

Полкан смотрит в трубку, замахивается ей так, словно хочет разбить ее об угол стола, но в ложе укладывает аккуратно.

Потом встает, отпирает обитую поролоном – чтобы ни звуки, ни тепло не выпускать – дверь, выходит на лестничную клетку, вслушивается, и спускается вниз, в пищеблок.

Проходит мимо составленных рядами столов, смотрит на нарезанные из старых журналов гирлянды – вчера всей коммуной отмечали день рождения у маленькой дочки Фроловых – и у плиты находит Льва Сергеевича. Полкан откашливается и сообщает ему:

– Слушай, Лева. Говорят, к нам гости едут. Из Москвы. Встретить бы их, накормить по-человечески. Ну и наших всех заодно. А то люди нос повесили.

Лев Сергеевич, худосочный гарнизонный повар, смотрит на него, скрестив на груди руки. Смотрит мрачно одним своим глазом – на другом повязка, отчего Лев Сергеевич походит на пирата. Произносит взвешенно:

– У меня мяса осталось на два дня, а крупы на неделю. Сегодня по-человечески поедим, а через пару недель на человечину переходить придется.

– Что ж ты за злыдень такой! Будет поставка! Куда они денутся?

– Ты с ними говорил?

– Только что вот от телефона.

– О! Духу набрался. И что они?

– Ну, футболят они меня. От одного департамента к другому. Скоро, скоро, завтра, завтра. Но не отказывают же!

Повар берет жухлую, странной формы луковицу, тычет в нее каким-то прибором с длинным острым жалом. Прибор истошно верещит. Лев Сергеевич отшвыривает луковицу в помойное ведро, хватает из кучи другую. Ворчит:

– Еще б отказались! Мы им тут за так, что ль, границу стережем? Мы у них на довольствии вообще-то. У них, а не у китаез. Вон, гляди, что шлют, нехристи. Вся

картоха отравленная, а лук так мне вообще сейчас прибор запорет.

– Какая работа, такое и довольствие!

Полкан пытается пошутить, но пират его шутке не смеется.

– А если мы им тут не нужны, тогда пускай бы нас отпустили. Мы бы взяли тогда и переехали куда-нибудь от этой реки подальше. Не дышали мы бы тут этим дерьмом, и земля бы родила, глядишь. За какой такой надобностью нам-то тут торчать, спрашивается, если Москва на нас класть хотела? Вот они приедут, москвичи, ты их и спроси на эту тему.

– Короче, Лев Сергеич! Ты присягу приносил? Я приносил. Так что давай, тушенку открывай и ставь на стол. Ты свое дело делай, а за политику я с ними сам разберусь, лады?

– Спроси-спроси! Потому что я ведь не один интересуюсь.

– Так точно.

Полкан шутейно отдает повару честь, мнется еще несколько секунд на пороге пищеблока, а потом все же добавляет:

– И бражки бы еще поставить.

– И бражки им еще!

Пират Лев Сергеевич с отвращением отбрасывает еще одну истошно верещащую луковицу в помойное ведро и поднимает на Полкана свой пламенеющий глаз.

– Два месяца жрать нам не шлют, а бражки им подавай. Грош доверия у меня твоим москвичам. И вообще, Сергей Петрович, не мешало б тебе быть подальновиднее. Китаезы нам один мусор теперь шлют, что сами жрать боятся – нам сливают. Ты думай о людях. О стариках вперед всего и о детях. Бражку! Пускай с собой везут, дармоеды.

– Они, может, и везут. Они и тушенку, может быть, везут.

– Ну вот и очень хорошо!

Повар возвращается к своему луку.

– Это ты, Лев Сергеич, саботируешь, что ли?

– Я своим делом занимаюсь, товарищ полковник. Это у тебя дело – языком трепать, а у меня – людей кормить.

– Дерзишь!

Полкан произносит это грозно, но уже из-за дверей. Потому что и сам мог бы за Льва Сергеевича все это сказать, слово в слово, только должность не позволяет. Должность требует козырять.

А во дворе его уже дожидается раскрасневшаяся от волнения Фаина.

3.

Мишель трет руки одна о другую – ожесточенно.

Серое хозяйственное мыло дерет кожу. Вода ледяная. Руки от нее становятся пунцовыми, саднят. Но куриный помет и, главное, запах птичника, мыло с них соскребает.

Надо что-то делать. Все на Посту должны что-то делать. Ее вот поставили на птичник – ничего особенного. Обычное бабское дело. Предлагали еще воспиталкой в детский сад идти – но Мишель от мелких держится подальше. Была бы своя сестренка там или брат – еще куда ни шло. Но с чужими сопляками возиться… Плюс ответственность. В том году у Морозовых старший выпал из окна, учительница проморгала. Нет, спасибо. Лучше куры. За дохлых кур не спросят.

Лучше безмозглые идиотские вонючие куры.

Мишель трет руки вафельным полотенцем, трет с ненавистью. Потом подходит к окну – сумерки наползают на город от леса. Она приоткрывает окно – хотя бы в кухне проветрить. Слушает дурацкий гомон двора – такой же назойливый, как гомон птичника. И вдруг видит за стеной, в просвете между корпусами – какой-то проблеск.

Луч.

Он бьет от железной дороги, с запада – оттуда, где идет ветка до Москвы. Кто-то едет сюда, на Пост. Мишель поворачивает ухо по ветру, и ветер обрывками, сгустками доносит до нее песню – мужские голоса, сбитые в хор, поют что-то бравое.

Из Москвы приезжают обычно смурные мужики в засаленных спецовках. Везут положенное гарнизону Поста довольствие – банки с тушенкой, пакеты с крупами. Мужики одни и те же: один в оспинах, другой брюхатый такой бородач, третий какой-то мутный головорез с ними ездит, для охраны. И все трое знакомы с Мишелью, конечно. Знают ее заказ – если хоть что-то услышат о ее родных в Москве, сразу ей доложить.

Правда, этих троих уже несколько месяцев тут не было – перебои с поставками; так что уже и по их оспяным рожам Мишель скучала, ждала, как письма от дорогого человека.

Но это не они.

Сноп света все ближе, и все громче песня. Подъезжают!

Дворовые собаки заходятся в лае. Бегут охранники, поправляя на бегу автоматы.

Выходит из подъезда, расправляя плечи и выкатывая вперед пузо, Полкан.

Ворота со скрежетом отворяются – и по специально положенным рельсам на Пост вкатывается сначала одна, потом другая, а потом и третья дрезина.

У Мишель из ее окна второго этажа лучший вид на эту сцену: и Полкан, и приезжие у нее как на ладони.

Тут одни мужчины, все молодые, все затянутые в зеленую форму с погонами. За спинами стволы, на головах фуражки с красными околышами. Потягиваются, смеются. С головной дрезины спрыгивает первым, наверное, старший отряда.

Мишель потихоньку приоткрывает оконную створку – чтоб все расслышать.

Старший отдает честь подошедшему Полкану. Рапортует:

– Кригов Александр Евгеньич, Государя императора Московского казачьего войска сотник!

Полкан важно отзывается:

– Полковник Пирогов, Сергей Петрович.

Сотник Кригов энергично жмет Полкану его пухлую пятерню, снимает фуражку – виски выбриты, а выше соломенные волосы копной – и короткая борода тоже из соломы. Улыбка белая, глаза… Какие у него глаза?

Полкан ехидно уточняет:

– Сотник ведь навроде нашего лейтенанта, а, Александр Евгеньевич?

– Нашего – это какого?

– Ну… Я в полиции звания получал.

– А… В полиции.

Он усмехается, дальше спорить не собираясь.

Сотник. А Мишель про себя решила уже называть его атаманом.

И тут этот атаман берет и сразу, не ища даже, откуда на него так пристально смотрят, а будто все уже зная, поднимает эти самые глаза – стальные – и нацеливает их на прячущуюся за оконными стеклами Мишель.

Красивый.

4.

Прибывшие спешиваются с дрезин – их тут десятка два человек. Дрезины большие, моторизованные, у каждой есть кузов, в кузове под брезентом лежат ящики. Полкан смотрит на эти ящики – дощатые, с трафаретными надписями «Останкинский мясокомбинат» – и сердце у него радуется.

Ящики пока не сгружают, но Полкан решает вопрос не форсировать. Когда будет время – тогда и отгрузят. Что с ходу клянчить – гостей надо сначала принять как следует, отогреть и накормить. Тогда уже и просить будет сподручней.

Главное свое дело казачий сотник в долгий ящик не откладывает.

– Ну что, господин полковник. Показывайте вашего гостя!

Шагая через двор, на здешнее хозяйство он озирается с кислой миной. Выправка у него что надо, шаг пружинит, взгляд строгий. Полкан глядит на двор своей крепости его глазами и понимает, что радоваться тут и вправду нечему. По двору гуляют куры, дети играют в караулке, к скамейке прислонен чей-то автомат – хорошо еще, без рожка. Бардак, а не пост.

В лазарете казачий сотник задерживается в дверях, оглядывается на врачицу – дадут халат? Но на Посту и тут без церемоний. Он снова недовольно качает головой.

Пришлый уже сидит в постели, обернувшись в одеяло. Вокруг смотрит недоверчиво. Фаина объясняет сотнику:

– Повезло вам как. Он только ведь сегодня в себя пришел. А так, чем уж ни пытались… Проснулся, совсем горячечный. Глаза бегают, всякую околесицу несет. Надышался.

– От реки, что ли?

– От реки, конечно. Но сейчас вроде получше. Успокоился хоть, а то все сбежать норовил.

Кригов смотрит на этого пришлого, на крест на его впалой груди. Улыбается ему и осеняет себя крестным знамением.

– Ты, брат, к своим попал, не бойся! Какое у тебя распятие знатное! Ты не монах ли часом?

Тот в ответ глядит непонимающе. Полкан разводит руками:

– Такое впечатление, что он по-русски ни бельмеса!

Сотник тянет к гостю руку, а тот весь съеживается, словно его хотят ударить. Кригов тогда пытается его успокоить.

– Братец, слушай! Мы тебе плохого не сделаем.

Достает из ворота серебряный образок на цепочке, предъявляет его пришельцу.

– Видишь? Мы тоже православные! В одного бога веруем!

Пришлого образок зачаровывает, его взгляд перестает метаться с одного дознавателя на другого. Сотник продолжает так же спокойно, ласково:

– Ты просто скажи – что стряслось-то? Напал на тебя кто-нибудь?

Рваное дыхание у пришлого налаживается, он кивает сотнику.

– Ну вот! Так и расскажи, брат, что там? Что там тебя так напугало?

Теперь гость качает головой.

Он, кажется, овладевает собой. Лицо его обретает осмысленное выражение. И вместо ответа он показывает на ухо и разводит руками. Фаина переводит:

– Глухой, мол! Вот мне с самого начала так и показалось, что он ничего не слышит.

Полкан чешет репу. Сомневается.

– Ну уж… Глухой.

Они приглядываются к гостю повнимательнее. Сотник Кригов пожимает плечами.

– Если глухой, то мог и не слышать криков от заставы.

Полкан напоминает:

– Шел и распевал «Господи, помилуй!». В него палили даже, не то, что кричали. Хорошо хоть, мимо. В него палят, а он дальше идет. Хоть бы хны.

Фаина вставляет свои две копейки:

– Мог и вообще ничего не понимать, если интоксикация серьезная. Мог находиться в бредовом состоянии.

Он наклоняется вперед, к сидящему на кровати гостю, тоже показывает себе на ухо, мотает бородой и подсказывает ему, произнося:

– Глухой ты, брат? Глухой, так?

Пришлый с этим соглашается. Кивает: так, так. А потом, будто вспомнив, что умеет говорить, этим своим ровным голосом выговаривает гундосо:

– Господь слуха не дал.

Кригов распрямляет спину.

– Ну вот.

Изучает его еще немного, потом кладет ему руку на плечо – тот вздрагивает, но руку не сбрасывает. Кригов медленно и тщательно выговаривает губами:

– А как тебя зовут, брат?

Пришлый не понимает. Тогда сотник показывает пальцем на себя и произносит:

– Я Кригов. Александр Кригов.

– Игорь?

– Да какое! Ручка есть у вас и бумага?

Фаина приносит ему исписанную тетрадь и карандаш. Сотник пишет свое имя на клетчатом листке, но пришлый смотрит в буквы тупо; насупливается, как будто не все узнает, пытается один раз их прочесть, другой, потом сдается и опять разводит руками. Полкан не выдерживает:

– Еще и безграмотный, что ли? Тьфу ты!

Казачий сотник смотрит на гостя вприщур.

– Он, ведь, наверное, мой ровесник. Детство, наверное, как раз на войну пришлось. У нас и в Московской области таких вот сирот знаешь, сколько! Может быть и не грамотный. Все, что угодно, может быть.

Тут до гостя все-таки доходит, чего от него хотят. Он тоже тычет себя в грудь пальцем и выговаривает.

– Раб божий Даниил.

Фаина квохчет:

– Ну вот. А я его Алешей, Алешей…

Кригов кивает. Раздумывает.

– Слушай, брат Даниил. Выручай нас. Нам нужно знать, что там, за мостом. А?

Тот хмурится, тужится, хочет понять – но все-таки не понимает. Тогда Кригов, почесав бровь, снова берет карандаш и рисует: две извилистых линии – реку. Мост через нее. Периметр стены Поста очерчивает прямоугольником. Показывает на себя, на Пост. Потом на мост, потом на тот берег.

– Там что? Что там?

Брат Даниил вдруг прищуривается. Поджимается. Собирается. Выговаривает:

– Что на том берегу?

– Да, да!

Он кивает: понял.

– Дорога там. Железная. На восток идет.

– Ну дорога-то ладно. А города какие? Люди живут там? Или все пусто?

– Не понимаю. Что?

Кригову приходится еще раз это же самое спрашивать, и произносить все медленно и терпеливо, губами четко показывая звуки. Даниил вроде под конец соображает, чего от него хотят, но вместо ответа спрашивает сам:

– А ты, божий человек, кому служишь?

– Я-то?

Кригов приосанивается, показывает Даниилу свои погоны, кокарду на фуражке.

– Государю императору и Московской империи.

– Московской?

Кажется, что из всех этих слов пришлый узнал по губам только одно.

– Так точно.

Проходит еще несколько мгновений – и маска из задубевшей кожи, которая у гостя вместо лица была, расслабляется. Он пытается улыбнуться – выходит плохо.

– Слава Богу. Дошел, значит.

И он тоже крестится.

– А ты к нам шел? В Москву?

– Да. Так именно.

– Зачем?

Раб божий Даниил понимает вопрос по выражению их лиц – и сотника, и Полкана.

– Обитель мою разорили. Братьев убили. Я последний остался. Пошел в Москву за заступничеством. По дороге звери напали. Думал, не дойду.

– Кто напал на обитель? Кто? Кто?

– Лихие люди. Я спрятался, они не нашли. А рассмотреть не сумел. Там у нас каждый сам за себя. Не разберешь.

Дальше разговор идет трудно: каждый вопрос Даниилу нужно объяснять три и четыре раза, а какие-то он не понимает вообще. Но вроде приходят к тому, что сам он не издалека шел, вроде бы из-под Нерехты откуда-то, где находился, пока не был разграблен, его самодельный монастырь.

Насколько он знал, дальше имелись города, и в них жили понемногу люди, хотя крупные центры, вроде Екатеринбурга, все еще лежали в руинах. Кригов все услышанное записывает, а, записав, уточняет:

– А как там у вас про Москву думают? Что говорят? Помнят Распад? Зла на нас не держат? За гражданскую войну-то?

Отец Даниил подтягивает свои худые плечи:

– Ну а что Москва? Там у нас такое началось после большой войны, брат на брата, сын на отца… Безбожный мир, Сатане преданный. Не помнят уже никто, от чего все началось… А бьют, бьют друг друга… На монахов нападать – виданное ли дело?

Полкан хмурится.

– А что раньше от вас никто к нам не приходил тогда, раз у вас там столько народищу живет?

Отец Даниил разводит руками.

– Я за всех не могу сказать. Сам слышал, что Москвы нет давно, в войну сгинула. Разбомбили ее или еще чего… Не знаю. Так все говорили, кого спрашивал. А когда обитель разорили нашу, я себе так сказал: терять нечего – пойду. Посмотрю своими глазами. И вот, одолел сатанинские козни, добрался.

Рабу божьему тоже интересно, как живут на Посту. Спрашивает строго:

– Одержимых тут нету у вас?

Полкан думает про жену и мотает головой:

– Да нет, вроде бы.

– Во грехе живете или праведно?

Тут уже Полкан не выдерживает – ухмыляется.

– Живем по мере сил. Стараемся особо не грешить, но получается не всегда. А ты, батюшка, сразу решил работенку себе подыскать на новом месте?

Раб божий Даниил хмурится, напрягается, но такой длинной фразы переварить не может. Полкан машет рукой.

– Ладно. Пойдемте, что ли, ужинать, а, Александр Евгеньевич?

Он похлопывает себя по пузу, и это вот Даниил понимает отлично. Кригов его оживление сразу подмечает.

– Что, оголодал, отец Даниил? Давайте его с нами на ужин, а, Сергей Петрович? Пускай знает, что дошел до своих наконец.

Полкан, подумав, соглашается:

– Фаина! Если святой отец сможет на ноги встать – давай его тоже к нам, в столовую.

5.

За ужином Егор сидит по левую руку от Полкана, казачий сотник расположен прямо перед ним. Кригов весел, он щедро смеется Полкановым затхлым шуткам, он то и дело встает, чтобы произнести тост – и тосты все эти за Государя императора, долгая ему лета, за Отечество, чтобы возрождалось шибче, и еще за то, чтобы супостатам икалось как следует.

Пришлого попа всем представили, и сотник посадил его от себя по правую руку.

Напротив него сидит Егорова мать и пожирает его глазами. Все хочет о чем-то его спросить, но как будто стесняется: чтобы отец Даниил разобрал слова, ему сто раз нужно громко повторить, а при людях она не решается.

Он тоже на нее поглядывает – но так же, как и на всех остальных: удивленно и восторженно. Всеобщего веселья ему не слышно, но видно: и смех, и тосты, и одобрительный казачий хор, и яркие солдатские улыбки.

Все у сотника в войске такие же бравые, такие же холеные, как и он сам.

И всякий раз, прежде чем начать говорить, Кригов нашаривает взглядом сидящую через два ряда Мишель, вместо того, чтобы обращаться к Полкану.

А Мишель – иногда смотрит в тарелку, иногда на деда, а иной раз встречает глазами Кригова. Егор каждый этот ее взгляд видит и запоминает: на него она так не смотрела никогда.

Егору хочется как-то этого самодовольного дядьку ковырнуть. И он без спроса вклинивается в их с Полканом разговор. Спрашивает у сотника:

– Ну, а как там Москва? Стоит?

Кригов удивленно оглядывается на него: он-то, видать, думал, что у Егора язык отрезан. Потом снисходительно улыбается пацану и отвечает ему, а заодно и всем присутствующим:

– Не только стоит! Хорошеет день ото дня! Порядок наконец навели, уличное освещение вон даже заработало на Садовом кольце! Можно хоть днем, хоть ночью гулять – патрули круглосуточные, наши, казачьи. Полная безопасность. Медицину отладили, Пироговская больница работает. Не ваш ли родственник, Сергей Петрович, ха-ха? Лечат все – и чахотку, и сифилис, прошу прощения у присутствующих здесь дам. И вообще город восстанавливаем. Внутри Бульварного – почти все остеклили. И красят сейчас. Церкви в порядок привели, в каждом храме службу служат, по вечерам такой перезвон стоит, что душа поет. Чистота! Да за что ни возьмись! В городе рестораны работают, танцы вечерами. Цветет Москва! Одно слово – столица!

Мишель ни слова из этой его речи не пропускает. Перестала отвлекаться, смотрит только на сотника. И тот, зараза, чувствует все. И продолжает нахваливать эту свою гребаную Москву, продолжает! Егор уже сто раз пожалел, что спросил, но Кригова теперь не заткнуть.

Поп даже чуть отстранился, и слушает Кригова внимательно и даже с восторгом, хотя и хмурится иногда – наверное, понимает не все.

Казачий сотник поднимается, в руке стакан.

– В славное время нам выпало жить, братья! Большие дела нам предстоит делать! Я-то еще мальчишкой был, когда наше великое государство целым было. Но помню все. Помню проспекты, забитые людьми и машинами, помню «Сапсаны» белые от Москвы до Петербурга, до Казани, до Нижнего! Помню Шереметьево с сотнями самолетов, синих с серебром! Помню парады нашей грозной военной техники на Тверской! Я у отца на шее сидел, он меня поднимал, чтоб лучше видно было, хотя у меня ноги уже ему до пояса свисали… Вот я и запомнил. Сколько мы потеряли, братцы! Из-за чужих предательств и заговоров, из-за нашего собственного благодушия, да и просто по случайности. Была Россия величайшей в мире страной… Эх! Но знаете, что? Я скажу вам. То время, когда мы сидели у папки на закорках, прошло. То, что у наших отцов выпало из рук, нам нужно подобрать. Любо ли вам это? А?!

– Любо! Любо!!

Остальные казаки вскакивают со своих мест, кричат наперебой. Полкан тоже что-то такое одобрительно гудит, хотя его свиной глаз блестит тускловато. Поп крестится и закрывает глаза.

Егор подглядывает за Мишель. Но она этого не ощущает.

Он ковыряет вилкой щедро наваленную на тарелку в честь прибытия этих гадов тушенку. Тушенки осталось ненадолго, надо лопать до отвала.

Кусок в рот не лезет.

Забрали бы уже этого чувака и катили бы поскорей обратно в свою Москву.

И тут грохот – поп потерял сознание и рухнул со стула на пол.

6.

Мишель ждала, что он подойдет к ней после ужина, но Полкан не отпускал его от себя, подливал и подливал китайской сливовки, пока в столовой никого не осталось, кроме них двоих, Егора и самой Мишель. Пришлось идти домой.

Но в у нее груди что-то тянет, что-то знает: этот вечер еще не кончился.

И вот в дверь стучат.

Мишель срывается со своей табуретки в кухне, и первым делом бросается в ванную, к зеркалу. Зажигает свечку, смотрится на себя. Волосы не так лежат, кажется, что там колтун какой-то… Расчесывала-расчесывала, и вот тебе…

Она слышит дедово шарканье, паркетный скрип – Никита выбирается из бабкиной комнаты, и кричит ему:

– Я открою! Слышишь, деда? Я сама!

– Ну, валяй сама… Ждешь, что ли, кого?

Мишель пытается засмеяться. В дверь снова скребутся. Мог же он навести справки и узнать, в какой квартире она живет? Весь вечер глаз не отводил, исщекотал ее своим взглядом.

Она вылетает в прихожую, напускает на себя равнодушный вид и отпирает.

Там стоит баба Нюра из другого дома, почти слепая уже старушенция, которая к своей подруженьке дорогу находит наощупь. Или по запаху.

Надо раздражение спрятать, говорит себе Мишель. Нюра-то в чем виновата?

Раз, два.

– Ой, баб Нюр. Добрый вечер.

– Можно мне, деточка?

Мишель берет ее под руку, ведет в комнату. Богомольческая вечеринка будет. Баба Нюра, как стала зрение терять, очень начала воображаемым увлекаться. Приходит, дед должен бабке псалтирь перед глазами держать, та читает, баба Нюра слушает и крестится за обеих.

– А раньше ты тоже такой набожной была, бабусь?

– Раньше, деточка, время другое было. Света было много, а тьмы мало. Вера ведь человеку как свеча во тьме… Путь найти…

– Понятно.

Баба Нюра здоровается, наклоняется к подушкам, целует Марусю в печеное яблоко щеки. Рассказывает, как день прошел: никак. Спрашивает, что там у Маруси: известно, что. Дед кивком отпускает ее: иди, мол, погуляй, что тебе тут со стариками?

Но Мишель не может пойти погулять.

Что – она просто выйдет во двор и будет там, во дворе торчать одна? Типа что, типа она вышла просто подышать? Ждет трамвая на Москву?

Наверняка начнут липнуть казацкие караульные. Или, еще хуже, этот недоразвитый, Егор.

И Мишель садится опять на свою табуретку – на свою раскаленную сковородку. Из комнаты шелестит:

– Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых и на пути грешных не ста, и на седалищи губителей не седе, но в законе Господни воля его, и в законе его поучится день и нощь. И будет яко древо насажденное при исходищих вод, еже плод свой даст во время свое, и лист его не отпадет, и вся, елика аще творит, успеет. Не тако нечестивии, не тако, но яко прах, егоже возметает ветр от лица земли. Сего ради не воскреснут нечестивии на суд, ниже грешницы в совет праведных. Яко весть Господь путь праведных, и путь нечестивых погибнет…

С самого начала Молитвослов начали, обреченно думает Мишель. По порядку пойдут. Это на весь вечер, пока бабка не уснет.

И тут во дворе свистят.

Свистят!

Она вскидывает глаза: прямо под ее окном стоит этот ее атаман. Видит ее, девицу у окошечка, и ей именно свистит. Свистит! Во наглый!

Отступить? Ответить? Или отступить?

– Эй! Мишель!

Разузнал, как ее зовут. Спрашивал.

– Спустись, а? Дело есть!

– Какое еще дело?

Она шепчет ему сердито, а у него такая яркая улыбка, что она сама собой отражается в ее лице. Она кивает, когда он жестом зовет ее к себе, на улицу. И как будто бы нехотя отходит от окна. И снова бросается в ванную, и теперь прихорашивается уже отчаянно. А в комнате баба Маруся ноет:

– В грехе живем, Нюрочка, в грехе. Плохо без исповеди, плохо без причастия. Вот человек, который через мост пришел, хорошо было бы, если б он батюшка был, а? Остался бы, может, с нами, и облегчил бы нам жизнь.

– Хорошо бы, Маруся.

– Помолимся, чтобы нам Господь защитника послал?

– Давай.

И они принимаются молиться теперь об этом; а дед Никита идет смолить на балкон.

Мишель к двери прыгает одним прыжком, а по лестнице идет не спеша, потому что дверь в подъезде распахнута, и атаману все будет слышно.

Выплывает – он стоит прямо перед ней, во рту самокрутка, глаза прищурены. Представляется ей, хотя она уже и имя его знает, и отчество.

– Ты ведь не местная, да?

Кригов спрашивает ее об этом сам, первый. Мишель-то все размышляла, как ей привести разговор к тому, что она и сама из Москвы, как и атаман. Что ей Пост этот кажется такой же забытой богом дырой, как, наверное, и ему. А он сам – сам увидел, что она на остальных здешних жителей не похожа.

Мишель чувствует, как у нее начинает припекать щеки.

– Не-а.

– А откуда? Не из Москвы?

– Из Москвы.

– Ну, я так и подумал.

– А что… Заметно?

Он усмехается и кивает. Он выше ее на голову, и ей приходится задирать подбородок, чтобы смотреть ему в его глаза. Глаза у них одинаковые, думает Мишель. Светло-светло-серые.

– Что тут забыла?

– Так… В Москве просто никого не осталось. А тут… Родня.

– Забирала бы их и возвращалась к нам! Прозябаешь тут… В Москве-то, наверное, жизнь повеселей бы пошла. Тут у вас какие по вечерам развлечения? Слизней с капусты собирать?

– Ну… Я вообще-то так и планировала.

– Ага. А где родители жили?

– На Патриках. На Патриарших прудах. У нас прямо на этот пруд окна выходили, у меня даже фотки есть… В телефоне.

– Патрики? А у нас там штаб войсковой совсем рядом.

– Правда?

– Честное слово. На Садовом сразу. А как родителей звали? Сейчас-то там не такая тьма народу живет, как раньше.

Сердце у Мишель начинает колотиться.

– Эдуард Бельков. Это отец. Он в министерстве работал.

– Ого. Эдуард… Эдуард…

Так во сне бывает, когда в пропасть падаешь. Неужели…

– Не Викторович? Такой… Невысокий, пузатенький?

– Нет.

Мишель мотает головой.

– Не Викторович. Олегович. Он под два метра ростом был.

– Да. Ну… Таких не знаю.

Атаман жмет плечами; но Мишель видит, что и он хотел бы, чтобы сейчас вот так запросто с ней случилось бы чудо, и что ему, как и ей, обидно, что чуда не случилось. Он дотрагивается до ее плеча – по-доброму.

– Ну, ничего. Держись, брат.

Мишель при слове «брат» вспыхивает, и этим себя совсем выдает. Он смеется. Она тоже улыбается.

– Слушай. Время еще не позднее… Пойдем, может, погуляем? Слизней с капусты пособираем там… Ну, или чем у вас занимается модная молодежь?

Она цыкает на него и хмурится. Начинает уходить – от коммуны, к заброшенным заводским цехам, к рухнувшим заводским трубам – туда, где ночные чернила разлиты, куда фонари не достают. Остановившись на краю света, оглядывается на него: ну и что, идешь?

7.

Тамара провожает отца Даниила до самого лазарета, поддерживая его под руку. Он не вырывается, но она чувствует, что он скован, напряжен, как будто ему неприятно ее прикосновение.

Фаина помогает отцу Даниилу устроиться на кровати, несет какое-то врачебное питье, и намекает Тамаре, что ей пора уже оставить гостя в покое. Но Тамара не уходит. Потом встает и шепчет что-то докторше.

Та удивленно и смешливо смотрит на нее:

– Исповедаться?

– Да. Наедине.

– Так. Ладно.

Фаина удаляется, и Тамара остается с отцом Даниилом один на один. Тот смотрит на нее непонимающе.

Она опускается перед ним на колени.

– Простите меня, батюшка. Думала, враг идет. Такое было предчувствие. Ошиблась. Каюсь.

Он хмурится, старается ее понять. Потом крестит. Потом, сомневаясь, спрашивает у нее своим ровным, без перепадов, голосом:

– Почувствовала?

– Да.

– Что я злой человек?

– Нет. Не про вас. Я не знаю, про кого. Я раскладывала… Просила, чтобы меня предупредили… Ангелы.

Он даже вперед подается, так старается ее понять. Она на каждый его вопрос и кивает, и качает головой – чтобы помочь ему.

– Гадаешь?

– Грешна.

– Цыганка?

– По мне видно? Да.

– Православная?

– Да. Я верующая очень. Только тут некому было… Исповедаете?

Он качает головой, крестит ее раз, другой, третий.

– В великий грех себя ввергаешь. Сатане предаешься. Молишься Богу?

– Молюсь, каждый день молюсь. Я… Понимаю… Вот, отмаливаю…

– Нельзя.

– Мне… Я боюсь очень. Будущего боюсь, батюшка. За сына. За мужа. Поэтому заглядываю туда…

Отец Даниил отнимает у нее пальцы, которые она пыталась целовать.

– Запрещаю тебе. Такое не отмолишь. Дьяволу открываешься. А Бог тебя не услышит, потому что нет его боле в этом мире. Будущее сокрыто от человеков, и смотреть в него – промысел Сатаны. Слышала? Запрещаю!

Тамара смотрит на него растерянно. А он твердо произносит:

– Уйди!

8.

Как только Мишель вышла из столовой, Егор тоже поднялся. Хотел догнать ее, хотел наконец извиниться за глупость, которую тогда сморозил. Думал рассказать ей, как искал для нее в городе телефон, как облазил сгоревший ТЦ, и как по квартирам еще шастал.

Но она проскочила к себе в подъезд так быстро, что он ничего не успел. Хлопнула ему в лицо дверью, а скрестись к ней он застеснялся.

Сел в тени во дворе, стал смотреть на ее окна.

Ты мне снилась сегодня

Мне во сне улыбалась

Говорила со мною

Будто с кем-то чужим

Будто с кем-то пригодным

Она появилась в окне; приоткрыла ставни, посмотрела во двор. Егор отодвинулся еще глубже в тень, взял в руки свою невидимую гитару. Улыбалась… Малость? Жалость. Ну хоть самую малость. Я проснулся – вот жалость. Ничего не осталось. Херня какая-то.

Когда сотник свистнул ее, Егор надеялся, что Мишель оскорбится и отошьет его. А она спорхнула прямо в его лапы, даже ломаться не стала. Ну хоть самую малость поломалась бы!

Нельзя было отпускать ее одну с этим. Не хотелось.

Егор должен был слышать все, что он ей скажет и все, что она скажет ему. Это, может, было подло, но без этого ему было никак не обойтись.

Так вот получилось, что он начал за ними подглядывать. Хотя лучше бы ему ничего этого вообще не видеть.

Они укрылись от людей за трансформаторной будкой.

Мишель сидит рядом с сотником, совсем близко – головы их склонились друг к другу, они, кажется, шепчутся о чем-то. Руки их сплелись – Егор точно это видит, фонарь с его стороны бьет по ним, и получается, что сам Егор для них невидим, а они – вот они, голубочки. Он вслушивается: вещает сотник, бархатным своим голосом заговаривает девчонку.

– Нету. Расстался полгода назад.

– А из-за чего?

– Характерами не сошлись.

– А поконкретней?

– С другом ее застал. С моим.

– Ого!

– И как-то не понял это. Я-то к ней серьезно. С родителями познакомил, все такое. А она вот так.

– Может, просто не твой человек.

– Может быть.

– А может, просто сучка.

Они пересмеиваются.

– Повезло тебе, что у тебя родители живы.

– Это правда.

Потом они замолкают. И тишина длится дольше, чем Егор может вытерпеть.

– А когда вы обратно поедете?

Мишель спрашивает это совсем негромко – и совсем другим голосом. Там у них действительно случилось уже что-то, что-то между ними произошло – отчего они стали друг другу ближе.

Дура!

Егор хочет выпрыгнуть из темноты, заорать, прокашляться хотя бы, сорвать им эту их наклевывающуюся любовь! Потому что он чувствует: этот лощеный хрен сейчас окрутит Мишель, охмурит ее, посадит на свою дрезину и заберет к себе в свою хренову Москву, заберет ее у Егора навсегда – а она только рада будет забыть и больше не вспоминать никогда всю свою жизнь на Посту.

– Как Москва прикажет.

В голосе Кригова тоже такая хрипотца появилась. Такая хрипотца, от которой у Егора кулаки сами собой сжимаются.

Сотник снова целует ее и еще что-то такое с ней делает, от чего она ахает тихонечко и всхлипывает. У Егора в паху начинает ломить, в глазах темнеет. Вместо того, чтобы заорать и выпрыгнуть, он только слушает, слушает, смотрит, смотрит… Горит от стыда и не сгорает.

– Алексаааандр Евгеньич!

Кричат от коммуны.

– Погоди. Зовут, кажется.

Кригов отлепляется от Мишель, всматривается в темноту – и вдруг замечает Егора. Вскакивает, выдергивает из кобуры пистолет. Наставляет на Егора ствол.

– Шаг вперед! Сюда иди, засранец!

Егору приходится подчиниться – и он выбредает в пятно света.

– Ты что тут делаешь? А?!

Сотник делает к Егору шаг, хватает его за ворот, встряхивает. Он смотрит на Егора зло и с подозрением, а Мишель – с досадой и брезгливостью.

– Не трогай его, Саша. Это нашего Полкана приемыш, а мать цыганка. Он придурок, мелкий еще.

– А… Точно, он. Ты подглядывал, что ли? А, задротище?

Егор мотает головой, что-то бубнит, Кригов отталкивает его от себя – силы слишком неравны, чтобы наказывать его как-то иначе.

Опять кричат:

– Алексан Евгеееньич! К коменданту!

– Пойдем отсюда, Мишель.

Кригов обнимает Мишель за плечи – уже не дружески, а по-хозяйски. Они уходят – вдвоем, а Егор остается – один. Уши у него горят так, как будто казак его за них драл. Лучше б он ему по морде съездил, чем вот так унизительно пощадить.

Говорила со мною

Будто с кем-то чужим

Идиот. Идиот!

Егор сжимает правую руку в кулак и бьет себя по тыльной стороне ладони левой – по косточкам, чтоб больней. Чтобы почувствовать.

9.

Полкан зовет Кригова в свой кабинет, чтобы продолжить разговор без чужих ушей. Закуривают. Полкан раскочегаривается едким дымом и сквозь него, прищурившись, спрашивает:

– На ужин вы к нам его, конечно, смело, Александр Евгеньевич… Стоило ли тащить? Вон он, глядите, хлипкий какой на поверку оказался.

– Ну, знаете… Так-то мне казалось, что он, вроде бы, очухался. Хотелось, знаете, добрую волю проявить.

– И все-таки… Я-то бы поморил его еще в карантине, поспрашивал… Прежде чем к людям. Мало ли?

Казачий сотник вскидывает бровь.

– Что, у вас все еще какие-то сомнения в нем? Не сходится что-то из того, что он про тот берег рассказывал?

– Ну… Это-то я как вам определю?

Сотник вскидывает и вторую.

– Слушайте-ка, как вас, Сергей Петрович… Ну а вы-то сами вообще знаете, что творится на том берегу-то?

Полкан снова пожимает плечами.

– Не знаем мы, Александр Евгеньевич. Не знаем мы точно, что там за этим чертовым мостом. Не ходим мы туда. Ну вот… Может, как этот поп сказал, так все и есть. А может, и наоборот все.

Кригов слушает Полкана с удивлением.

– Странновато это, по правде сказать. Понимаю, граница спокойная… Но все же…

Полкан вздыхает.

– Ну… Необходимости пока не было. И как – не знаем… Знаем, ясное дело. Заволжье там. Красный бор. Что еще… Кузнечиха. Дальше будет этот… Спас-Виталий. Ну то есть, это все там раньше было, до Распада. А сейчас – кто ж его знает. На месте Костромы же раньше тоже вот была Кострома. А нынче сам понимаешь, Александр Евгеньевич, что.

– Я не понимаю.

Кригов ждет ответа на заданный вопрос. Полкан тогда принимается терпеливо перечислять ему всю железнодорожную топографию:

– Дачные поселки, там у нас за мостом. Пятидесятый завод, лес и раньше был – а теперь уж, наверное, совсем не продерешься. Ну и все. Железка дальше идет – Любим, Буй, Галич, Мантурово, Шарья… Наша вот эта вся Костромская область.

Киров, оно же Вятка. Ну и где-то там, впереди, Пермь и Екатеринбург, ну и так далее… А живут там, не живут… Я вот думал, что не живут.

– Почему разведка не работает?

– Нечего там разведке делать. За столько лет ни одна живая душа с той стороны к нам не приходила.

– Но теперь пришла.

– Теперь вот пришла.

Полкан признает это нехотя. Кригов выносит резолюцию:

– Я не вижу оснований ему не доверять. Наш человек, православный. Мне сказали, при нем и хоругвь была?

– Ну была, да.

– Мне-то хоть скажите, Сергей Петрович. Вы верующий?

Полкан разводит руками.

– Ну, как сказать… Ну, наверное. Крещеный.

– Крещеный!

Кригов криво усмехается, качает головой. Потом все же объясняет Полкану:

– Это вы вот крещеный, а не верующий – знаете, от чего? От того, что сидите на этом своем посту, как у Христа за пазухой. Один-единственный раз вылез тут у вас нарушитель – и тот оказался калика перехожий, божий человек. А послужили бы вы на югах с мое, узнали бы, что значит – в наше темное время хранить Христову веру.

Полкан вспоминает раны на руках у монаха и замечает:

– Так уж вы и уверены, что он божий человек? Только из-за того, что крестик носит?

– Ну так и что! Таких вот богомольцев знаете, сколько сходится в Москву со всех концов! Слышат, что страна возрождается, и идут… А кто на хоругви у него был изображен?

– Сейчас… Я вот смотрел, просил, чтобы мне записали… Тут где-то…

Они смотрят на расстрелянного старца, безыскусно намалеванного на полотнище. Кригов его в лицо не узнает, читает подпись.

– Священномученик Киприан. Это грек какой-то, наверное.

– То есть, вы тоже не знаете?

– Ну я-то… Я солдат, Сергей Петрович. Солдатских святых я знаю. А это какой-то гражданский, видимо.

Сотник неловко усмехается. Полкан мотает башкой, давая понять, что не в претензии.

– Да я ничего и не говорю. Просто ведь… Ну, у святых есть ведь, так сказать, специализация, да? Один, допустим, от пули бережет, как вы тут верно сказали, а другой от болезней… Этот вот, например, от чего?

– Кто его знает. Спросите у отца Даниила, если вам так приспичило.

– Ну да. Я-то спрошу. Только знаете, Александр Евгеньевич, у меня такое чувство вообще, что он немного того… Мало того, что глухой, а еще и… В космосе. За ужином не смотрели за ним, нет? Головой только крутил и улыбался так… А глаза стеклянные. И отвечает… Вроде как на тот вопрос, который ему задавали, а вроде и невпопад.

– Думаете, юродивый, что ли? Может, это от ваших газов такие отходняки. Хотя, может, и юродивый.

Полкан отходит к окну, смотрит в свое отражение – смеркается быстро, и за стеклом уже такая кромешная темень, что ничего другого там не видно. В стекле совсем другой Полкан – нет в его отечном лице ни радушия, ни успокоенности, ни согласия с казачьим сотником.

– Ну, то есть, конечно, он надышался от речки от нашей… До сих пор вон – видите, как его… И все же… Вот это его «Господи, помилуй!», когда он под пули шел… В общем, как по мне, так он странноват. И это мягко говоря.

Сотник Кригов смотрит на Полкана строго.

– Я вот что вам скажу, господин полковник. На югах, где наши части стояли, дикари требовали от православных от веры нашей отречься. Выкрадут, или в плен возьмут – сразу не убивают, мучают. Отрекись – и живи. Будешь упрямиться – башку отрежем. Знаете, сколько раз я вот так вот получал головы своих бойцов?

Полкан прокашливается.

– Ну… У нас-то тут такого, слава богу, нету…

– Откуда ж вы знаете, что у вас тут есть, а чего нет, если вы за мост не ходите? Так вот. Люди за веру мученическую смерть принять готовы! В такие-то времена! Это вам понятненько? Если человек в этих гиблых, опасных землях остается верен Христу, не боится с хоругвью идти, это о чем говорит?

– Ну… Возможно.

– Я этим делам цену знаю, Сергей Петрович.

– Понял. Но хоругвь ведь кто угодно может взять, да и крест… Это само по себе ни о чем не говорит, если задуматься.

Сотник качает головой – уже резко, утомившись от комендантской запоздалой подозрительности.

– Вам же сказала ведь ваша же докторша. Он во сне, в бреду молился. Это-то как изобразишь?

– Ну… Это действительно, может… Может и нет. А вот то, что он глухой, как себя заявляет, как вам кажется? Хочу просто, так-скать, сверить ощущения… Вслух рассуждаю. Ведь эта граница наша… По Волге. Она ведь от кого граница? Там ведь мятеж был, во время Распада, так же? Так.

Кригов сосет мундштук. Потом вздергивает бровь:

– Как по мне, так он вполне себе глух. А про мятеж там уже и не помнит никто, Сергей Петрович, если у них столько лет междоусобная грызня идет. Хотели бы воевать – воевали бы, и не было бы тут у вас вашей курортной жизни.

Полкан тогда спрашивает для ясности:

– Так вы что? Заберете его обратно с собой в Москву для дальнейшего дознания? Так-то, если по сути, рассказал он пока немного… Может, найдете у себя в Москве кого-то, кто на языке глухих его допросит…

Кригов смотрит на него как-то странно.

– А кто вам сказал, Сергей Петрович, что мы вообще собираемся обратно в Москву?

10.

Мишель не сводит глаз со двора: нельзя упустить момент, когда атаман будет выходить из лазарета. Время позднее, вся его свита уже расквартирована, двор опустел.

На улице мерзко. От Ярославля надвинулись свинцовые тучи, забили все небо. Ветер поднимается – такой ветер, от которого зябко и тревожно. Но критическая масса на небе все еще никак не наберется, и это ожидание ливня пробирает до костей больше, чем любой ливень.

Бабка в комнате уснула и храпит с присвистом, дед посидел с внучкой в кухне, выкурил раздобытую у казаков самокрутку, опрокинул рюмашку и тоже поплелся спать. А Мишель как будто читает.

В голове один только Кригов. Саша.

Глаза, улыбка, руки.

От солнечного сплетения – и вверх, и вниз – то ли цветок распускается, то ли разверзается черная дыра, которая может всю Мишель затянуть и проглотить. Сладко тянет. Вспомнишь улыбку – начинает сердце гнать. Мишель встает, садится и опять встает. Приоткрывает окно и дышит холодным – чтобы остыть, и чтобы не прослушать его голос, когда будет выходить во двор.

С того самого дня, как дед заставил ее поверить, что отца с матерью больше нет, она только об одном мечтала: влюбиться в кого-то, кто заберет ее отсюда, из этой чертовой дыры, из Тмутаракани, с края света – в центр мира. В Москву. Мечтала только об этом, но ни в кого из приезжавших из Москвы влюбиться до этого дня не могла.

И тут он.

Собаки заходятся лаем, визжат петли, стучит фанера – хлопает лазаретная дверь. Полкан с Криговым выходят во двор, чиркают зажигалкой, переговариваются. Мишель по минному полю выбирается чудом на лестницу. Ресницы у нее начернены, губы накрашены, а щеки алеют сами.

– Завтра обсудим поподробней, Сергей Петрович.

Полкан закашливается. Кивает.

Трясут руки, расходятся. Мишель пропускает Полкана мимо себя по лестнице – только бы он ее духи? не услышал! – и успевает шикнуть Кригову, прежде чем тот зайдет в свой подъезд.

Ей должно быть стыдно за себя, но ей отчего-то совсем не стыдно.

Ей не важно, как повела бы себя на ее месте приличная девушка. Как повела бы себя ее мать. Матери нету, жить надо Мишель. Сейчас и здесь.

Она берет Кригова за руку. Привстает на цыпочки и сама целует его в губы; он отвечает ей – сразу. Он ждал ее.

Мишель знает, как все будет. Атаману, дорогому гостю, положена своя комната, отдельная. И когда он зовет Мишель в эту комнату, она не спорит. Она знает, что будет там, и знает, что будет потом.

В этот цветок, в эту черную дыру, которая распускается у нее в солнечном сплетении, затягивает не только ее саму – в нее затягивает и Кригова, бравого атамана; она отдает ему только то, что сама хотела ему отдать. Она забирает у него сердце. Они сплетаются в канат, и эту связь уже никто не разорвет. Мишель будет с ним, она знает это совершенно точно, и от этого знания ей покойно и тепло.

Когда он курит, она играет с его бородой.

Ей не нужно придумывать, как сказать это. Она не хочет ничего подстраивать, не хочет ни к чему подталкивать его, не хочет вкладывать мысли в его голову. Она хочет быть с ним честной и простой. Она наклоняется к нему и целует его в дымные губы. И просит:

– Саша. Забери меня с собой. Забери к себе.

11.

Полкан толкает входную дверь, скидывает башмаки, смотрит на себя в зеркало.

– Пум-пурум-пум-пум. Пум-пурум-пум-пум, бляха.

Сует ноги в клетчатые войлочные тапки, шаркает в кухню.

В ней сидит Тамара – в халате с цветами, перебирает четки. Перед ней чашка с чаем. Глаза бессонные. Руки скрещены. Матрона Московская и та повеселей с

фотографии глядит. Спрашивает сразу:

– Что он говорит?

Полкан чешет затылок.

– Ничего выпить нет у нас? Надо выпить. Казачок-то?

– Ну а кто?

– Казачок… Казачок, Тамарочка, говорит, что в Москву они обратно не поедут. Говорит, что они поедут за мост.

По душам

1.

Егор валяется в постели с книжкой. Какой-то дурацкий роман про то, как люди выживают после Апокалипсиса. Мать говорит, до Распада таких много шлепали, что-то такое люди предчувствовали и очень этой темой интересовались. В воздухе висело, наверное… Как перед грозой бывает душно.

Но в книжках все было на жизнь непохоже.

Жизнь была скучней раз в тыщу.

На стенах – плакаты с рок-группами, вырезанные из старых журналов. Говорят, перед Распадом слушали совсем другую музыку, но она вся была в Сети, и от нее не осталось ни записей, ни постеров. А от русского рока сохранилась масса всякой требухи: и диски, и кассеты, и плакаты. Егор себе этого добра из

Ярославля натаскал: прикольно было мечтать о том, сам он однажды будет выступать перед стадионами со своими песнями. Хоть стадион в Ярославле остался всего один – «Шинник», и весь порос бурьяном, но Егор туда пару раз лазал со своей гитарой. Вставал посреди поля, брал аккорды и представлял себе, как трибуны ревут от восторга.

Гитара это все, что у Егора осталось от его настоящего отца. Мать объяснила, что тот гастролировал все время, играл в клубах в какой-то крошечной рок-группе. Был пропойца и потаскун, а когда узнал, что Тамара забеременела, пропал насовсем, оставив ребенку в наследство вот гитару. Но это мать так ему рассказывала. Егор, зная ее тяжелый характер, догадывался, что все могло быть и по-другому.

И то, что гитару мать сберегла и отдала ему все-таки, тоже говорило за то, что жизнь была посложней ее объяснений.

А теперь гитару Полкан реквизировал – за то, что Егор с урока истории сбежал.

Егору слышно, как дверь хлопает: Полкан домой завалился. Слышно, как разувается, слышно, как смотрится на себя в зеркало. В этом доме все слышно очень хорошо.

И потом – еще через минуту – материн крик в кухне.

Егор сначала пытается уши заткнуть – ничего такого уж необычного нет в том, что она Полкана чехвостит. Но потом он все-таки спускает ноги с койки и тайком подкрадывается к кухне. Дверь прикрыта неплотно.

Полкан бубнит:

– Как же я их отговорю, Тамарочка?

– Мне все равно, как! Ты комендант Поста, ты отвечаешь за эту границу, ты знаешь, что тут происходит, а они нет – господи, да придумай что-нибудь, ты же хитрожопый, ты же как-то еще при той власти до полковника дослужился!

Сегодня, кажется, поинтересней, чем обычно. Что там у них с границей? Обычно Полкана отчитывают за пьянку и за слишком внимательные взгляды в направлении рыжей Ленки. Полкан пытается сойти за дурачка:

– А что тут происходит, Тамарочка? Тут у нас, слава богу, ничего не происходит.

– Хватит валять идиота. Ты меня прекрасно с первого раза понял.

– И как ты себе это представляешь? Что я приду сейчас к этому их казачку, растолкаю его и скажу: господин атаман, ваша экспедиция отменяется!

Какая еще экспедиция? Куда? Егор аж подбирается весь, как кошка перед прыжком.

– А он мне: как так отменяется? Мне Государь император приказ дал! А я ему: все понимаю, господин атаман, но у нас тут есть инстанции повыше. Он мне: это что еще за инстанции? А я ему: моя жена, господин атаман. Он подумает-подумает и скажет: ну, тут уж даже Государь император бессилен, раз жена!

Егор прислоняется к стене, заглядывает осторожно в щель.

Полкан похихикивает, излагая, но хихикает суетливо, а рожа у него раскраснелась, будто от выпивки. Тамара выслушивает его, не перебивая; в черных глазах – кипучее бешенство. Она дает ему закончить.

– Одно скажи: ты мне правда не веришь, или боишься сойти за подкаблучника перед этими солдафонами?

Полкан выбирает осторожно.

– Ну… Нельзя сказать, чтобы я тебе совсем не верил.

– Значит, ты в себя не веришь. Был бы уверен в себе – не побоялся бы выглядеть слабаком.

– Так! Ты давай-ка слишком-то не бурей!

Он тоже встает – и оказывается ростом ей всего только до переносицы.

– Ты боишься сойти за слабака, а нас всех обречь не боишься?

– Да что ты будешь делать!

– Мы его не трогаем – оно нас не трогает, Сережа. Все просто. Так им и объясни. Что тут трудного? Что тут непонятного?

– Тамара! Они, бляха, военные люди! У них есть приказ! И у меня есть приказ! Все! А «оно нас не трогает» это херня какая-то, а не объяснение, почему ты не выполняешь приказ! А невыполнение приказа это саботаж! А время военное! Что тут непонятного, бляха?!

– Ты их же в первую очередь и убережешь. Этого красавчика казака и всех его мальчишек. С кем они там в Москве у себя воевали? С бандитами какими-нибудь! Что они вообще знают про тот берег?

– А мы что знаем про тот берег? Да боже ты мой, ты сама-то что знаешь про тот берег? Именно знаешь, а не чувствуешь?! Ну Тамарочка, ну твои сны, твои гадания на кофейной гуще к делу не подошьешь, ты понимаешь это или нет?! Тьфу ты, боже мой!

Он принимается расхаживать по зале взад и вперед, пыхтя и потея. Тамара вцепилась в него взглядом, не отпускает. Сцена затягивается.

– Зато, если они там сгинут, вот это ты подошьешь к своему делу. Или к твоему делу в Москве подошьют!

– Ладно. Пойду, скажу: за мост вам идти нельзя. Там сидит лихо. Змей, например. У моей жены предчувствие. Дай только, рюмашку опрокину для храбрости.

– Не смей надо мной смеяться! Никто не виноват, что тебе, полену бесчувственному, ничего такого не доступно!

– Господи! А тебе-то что доступно, ну? Из-за чего крайний раз паника была? Когда этот бомж через мост пришел! Что ты говорила? Что он всем нам смерть несет? Бомж, ушибленный, да и глухой еще!

– Он не бомж! Он святой отец!

Мамка и ее глупости. Вот еще, святой отец нашелся. И так весь дом в иконах – ни чихнуть, ни пернуть, а теперь и это еще. Еще, блин, поведет, чего доброго, Егора креститься! Сколько раз уже ей говорил: ну веришь – и верь сама, не надо заставлять людей! Он сам разберется как-нибудь.

Но тут кое-что поинтереснее. Значит, казаки за мост уезжают, в экспедицию! Хорошие новости: не повезет же казак Мишель с собой!

А с другой стороны: в настоящую, блин, экспедицию. За мост!

– Егор! Ты что, подслушиваешь там?!

Спалила его.

Егор протискивается в кухню.

– Сорян. Я гитару хотел свою попросить. У меня ж вроде закончился мой этот срок. Который типа наказание.

У Полкана харя уже прямо пунцовая. Егору отвечает он:

– Подождешь!

Мать пока на него внимания не обращает.

– Каждый в снах свое видит. Ты, может, прошмандовок каких-нибудь своих старых. А я – будущее. Это ты ничего не знаешь, а я знаю все. Знаю, что с той стороны реки – зло. И что это зло только и ждет, чтобы мы его разбудили. Пускай эти болваны при погонах едут туда, за мост, да? Пускай тычут в него палкой. Сначала оно их сожрет, а потом и к нам переползет.

– Ой, ну мам! Ну хорош его стращать! Ну ведь ни один твой сон не сбылся еще!

Полкан поддакивает:

– Это, между прочим, верно. И глухой этот вон тоже говорит – ничего там особенного нет!

Тут взрывается и Тамара – и тоже обрушивается на Егора.

– Выйди вообще отсюда, у нас свои разговоры!

– Гитару отдайте!

Егор скрещивает руки на груди, и его глаза – не в мать, а в отца раскосые и дикие, искрят об ее глаза.

– Не получишь ты своей гитары, если будешь так разговаривать! Все, на неделю ее лишен!

– Да что я такого сказал-то? Сны это просто сны, мамуль! Это ты вечно с ними носишься!

– Просто сны? Никто не виноват, что тебе ничего не передалось! Все отцовские сорняки забили!

– Ой, ну все! Начинается!

Егор зло хохочет.

– Отцовские сорняки! Зато, может, крыша не поедет, как у деда! Здоровей буду!

– Две недели без гитары! Не отдавай ему, Сережа! Пускай научится нормально разговаривать с родителями сначала!

– Да и пошли вы! Шерочка с машерочкой! Психи! Что один, что другой! Родители, блин! В гробу я таких родителей видал!

Егор хлопает дверью так, чтобы в серванте посуда зазвенела. А потом ещё шваркает и входной – злоба перекипает, невозможно удержаться. На лестничной клетке садится на подоконник, пялится в окно. После этой его выходки гитары его точно лишат – и лишат на те самые две недели. Мать упрямая и в этих вопросах до тошноты принципиальная. Вот ведь, сука, дебильный день!

2.

Всю ночь Егор прошлялся кругами: уйдет к заводским корпусам, там поторчит, тут поторчит – а потом, как магнитом, его тянет к окнам Мишель. Света там нет – спит она давно. Но окно приоткрыто, и Егор уже не раз и не два останавливался за мгновение до того, как позвать ее… Ну или стих начать читать… Ну что-нибудь, короче. Останавливался, потому что становилось стыдно и страшно.

Егор ничего не может с собой поделать – представляет ее себе – в постели, с голыми загорелыми ногами и в белой безразмерной футболке. А под футболкой…

Увидеть ее сегодня с мужчиной, видеть, как она держит кого-то за руки, как сближается с ним, соприкасается… Мишель, недотрога, святая Мишель, которая любого ухажера на Посту с ходу отшивает, которую никто ни с кем никогда не видел…

Теперь ему хочется к ней, с ней – еще отчаяннее, в сто раз отчаянней. Раньше он думал, что это просто невозможно; теперь он знает, что возможно – но не для него. Ну да, этот чмошник старше. И он весь такой из себя прекрасный русский человек. У него-то мать точно не цыганка. С этим уже ничего не поделать.

Плюс, он типа москвич, а любой на Посту знает, что Мишель двинулась на этой своей Москве. И вот он такой безбашенный храбрец, что решил ехать за мост. Хотя гляди-ка, живут же там люди, оказывается, и ничего такого страшного!

Герой… Уедет-то он уедет, Мишелечка, завтра же вот прямо и отвалит, и еще вилами на воде писано, вернется ли он когда-нибудь или нет! А я тут, тут, и никуда я от тебя не денусь!

Форма, конечно, классная у них. Погончики эти, фуражки.

Снаряга вообще зачет.

С такой снарягой особо и героем не надо быть. У них там еще и пулеметы, небось, на дрезинах, под брезентом спрятаны, а может и еще что-нибудь похлеще пулеметов. Тридцать человек едет. Мамка свои сны сколько угодно может смотреть и пугаться, а тридцать человек при пулеметах – это все-таки сила.

Она, наверное, выйдет этого своего хахаля провожать. До свидания, дорогой хахаль, я дико восхищена твоей нечеловеческой храбростью. Ты отправляешься в край, полный опасностей, как нам поведала Егорова мамка. Дай, расцелую тебя на дорожку. Тьфу, блин.

Вот бы можно было отправиться с ними… Вместо этого болвана.

Тут хлопают ставни. Распахивается окно.

И на весь двор раздается материнский вопль:

– Егооор! Иди домой!

– Да иди ты, мам!

Егор вжимается в тень. В лицо ему будто горячим паром дали, внутренности рвутся. А у Мишель окно открыто… Она услышит же…

Он вылетает со двора; ноги сами несут его к заводским корпусам. Хочется и под землю провалиться, и что-нибудь такое замутить… Совершить… Сделать что-нибудь, чтобы на него, на него, на Егора, а не на этого хлыща она смотрела.

Ну а что, если…

Что, если он первым на мост заберется?

Первым заберется на него, прямо вот сегодня, сейчас, и дойдет до конца!

И когда эти пижоны в своих погончиках будут с фанфарами на него отправляться, он выйдет такой и скажет: да че, думаете, там че-то особенное, что ли? Я вон ходил вчера, ниче такого.

Тем более, что там ничего и нет, бомж сказал же.

На мост, в эту жуткую зеленую гущу, конечно, без противогаза нельзя, но противогаз у Егора припрятан в его тайнике, в заводском бомбоубежище. И фонарик там тоже, кстати, есть. Автомата только ему в это время не выцыганить, ну и черт с ним. Осталось придумать, как прошмыгнуть мимо заставы, которая мост стережет. Но и тут есть мысль…

В первые пару дней после пришествия бомжа дозор на этой заставе был усиленный – ждали новых гостей, но больше никто из тумана не выходил, и дежурства вернулись к рутине. Три бойца от силы, на рассвете пересменка. Когда смена задерживается, дожидаться ее сонные погранцы не хотят. Бредут к воротам, стучат в караулку, поднимают заспавшихся сменщиков.

Сколько раз так было при Егоре.

Вот тут и можно было бы проскочить.

Он отдирает приставшую чугунную махину, оттаскивает створу в сторону, она скрежещет, сопротивляется, пытается разбудить всех на Посту, паскудина. Но ночь уже самая глубокая, тот самый час перед рассветом, когда мрут старики, когда проснуться невозможно.

У самого Егора – сна ни в одном глазу, его знобит от возбуждения, колотит от зябкого сырого воздуха катакомб. Ничего. Завтра, когда он им всем расскажет, где побывал, отогреется. Когда на него будет Мишель смотреть. И когда он сам будет смотреть на этого казачка.

От наполовину заваленного выхода из бомбоубежища Егор пробирается к насыпи – тут освещения почти нет, а луна за облаками, ничего сложного. Сложно будет вылезти прямо перед дозорными на пути и зашагать по этим путям к

мосту.

Егор выбирает себе место – в кустах почти под заставой. Так близко к ней, что разговоры дозорных можно разобрать чуть не слово в слово. Обсуждают пришлого бомжа, кто-то – кажется, Жора Бармалей, – говорит, что бомж на самом деле то ли странствующий монах, то ли поп без прихода, и что неприкаянные местные бабки его появлению очень обрадовались.

Не только бабки, мрачно думает Егор.

Потом разговор переходит на казаков и на консервы, которые они привезли. Давешний ужин был первый приличный недели уже за две, а то и за три, и по московской тушенке на Посту скучали все без исключения. Так что на ящики с трафаретными надписями на дрезинах обратили внимание все. Вот только одноглазый Лев Сергеевич говорит, что казаки ему тушенку сгрузить не дали, сказали, что старшой пока не разрешал. А чего он ждет?

Вялое осеннее солнце подсвечивает черное небо серым, готовится подыматься, и дозорные могли бы уже в это время засобираться домой, но они медлят. Может быть, были от Полкана им какие-то инструкции об особых предосторожностях, пока с мостом все опять не устаканится?

Егор начинает ерзать. Ветер становится сильней, ветки гнутся, ему задувает в ворот и в рукава; наверху тоже, наверное, ежатся – но ждут смену.

Ветер бьет в зеленую стену, оттесняет ее немного – но только немного; испарения, которые поднимаются от реки, слишком тяжелы и слишком обильны. Хорошо еще, что они сейчас не с подветренной стороны – иначе тут без противогаза было бы невозможно дышать.

Сидят. Ждут. Небо сереет все явственней. Уходит время.

И когда Егор уже начинает думать, не подняться ли ему по насыпи и не сдаться ли дозорным, от Ярославля стремительно надвигается на них саранчиное шуршание – и вместе с ним пелена грязного целлофана.

Ливень.

Тяжелые капли падают сначала мимо, потом попадают в Егора, и там, наверху, попадают еще и в других людей. Егор скорей-скорей натягивает противогаз, накидывает прорезиненный капюшон плащ-палатки. Кожу от этих дождей надо беречь.

– Полило! Сейчас опять до язв прожжет!

– Сука, а там-то! На горизонт-то ты глянь!

– Айда до хаты, мужики? В такую погоду кто полезет-то?

– Что там до конца смены-то осталось?

– Десять минут. Девять.

– Ну и ничего. Ночь спокойная была.

– Ну что, товарищ командир?

– Да ничего. Командую отступление!

Дозорные перебраниваются, пересмеиваются, и, натянув куртки на головы, бегут через кусты к Посту. Егор минуту сидит неподвижно, сидит другую, и только убедившись, что назад никто и не думал оборачиваться, вскарабкивается к путям. Пригибается, как под обстрелом, и бежит в зеленую мглу.

3.

Атаман смотрит на Мишель как-то странно.

Прежде, чем задать ему свой главный вопрос – может ли он ее отсюда с собой забрать – она дождалась специально особенной внутренней легкости, пустоты, ощущения, что после того, что только что произошло – на что она никогда еще не решалась, решилась теперь, и ничего, не умерла – можно решиться вообще на все, что угодно.

Не может же он сказать ей «нет»?

Саша затягивается глубоко. Выпускает дым. Говорит:

– Нет.

Мишель укутывается в простыню.

Вдруг она чувствует себя не обнаженной, а голой. Голой, перепачканной и нелепой. Цветок в солнечном сплетении завязывается, превращается в странный пульсирующий плод, теплый гнилостным теплом, умерший до рождения, непереносимый.

Она хочет набраться мужества легкомысленно ему улыбнуться, но у нее не получается. Она хочет иметь достаточно равнодушия, чтобы не сбегать от него сразу, но ей не хватает.

Мишель спускает ноги на пол и начинает одеваться.

4.

Войти в туман – как нырнуть под воду.

Стекла противогаза запотевают, зеленый туман обступает их вокруг – он клубится, струится; он кажется более плотным, чем ему положено быть – не туман, а какой-то жирный, что ли, пар валит от ведьминого варева там, внизу. Река клокочет, слышно, как лопаются тяжелые пузыри; хорошо, резиновая вонь противогаза отбивает тяжелый речной дух.

Фермы моста выплывают навстречу медленно, шпалы под ногами – бетонные, перед Распадом замененные – все покрыты каким-то скользким налетом, а рыжие рыхлые рельсы кажутся совсем хрупкими. Иногда туман справа или слева вихрится, как будто в нем кто-то может жить, как будто сквозь него кто-то может видеть, как будто эта растворенная в воздухе кислота не выест сразу глаза любому, кто сунется сюда без противогаза.

Как будто шаг в шаг за спиной у Егора, или сбоку от него кто-то идет, переступая осторожными и длинными, как у цапли, ногами где-то совсем рядом… И каждая нога будто высотой с человека, а голова нависает высоко над его головой – неразличимая в зеленой мгле.

Мост кажется бесконечным – Егор пробует считать шпалы, чтобы занять чем-то ум, но сбивается после сотой. Ничего, говорит он себе. Если этот бомж перебрался через мост, если казачок за него собрался, то сможет и он, Егор. Что тут такого, в самом деле?

Вдруг на рельсах что-то… Что-то образуется.

Егор замечает это, только когда чуть не спотыкается о него – буквально в нескольких шагах – такой тут густой туман. Мешок? Или… Нет, не мешок.

Прямо на шпалах, вцепившись в них пальцами так, как будто ноги больше не слушались и приходилось подтягиваться вперед на руках, лежит лицом вниз человек. Он, конечно, мертвый – без противогаза реку нельзя пересечь живым; но он ушел от своего берега, кажется, довольно далеко.

Первое, что бросается в глаза – он совершенно голый.

Голый – в зябком позднем октябре.

Роста он огромного, плечи и руки бугрятся окоченевшими мышцами, волосы склеились в колтун. Егор обходит тело вокруг, в ушах у него ухает, стекла противогаза застилает испарина.

Человек бос, и ступни его ног изранены – тут и там глубокие порезы, трещины, заклеенные сухой кровью. Егор думает – не перевернуть ли его лицом кверху, но потом говорит себе – нет, не надо. Тело окоченело, так просто его и не перевернешь… Да и зачем?

Дождь омывает тело. Звук странный, когда капли секут кожу. И что-то еще тут странное есть, что-то, чего Егор еще пока не понял.

– Привет, – говорит он мертвому.

– Ну привет.

– Что тут делаешь?

– Прилег. Полз-полз, шишку съел, притомился и прилег.

– Ясно. Ну ладно.

Хотя ничего не ясно. Жутковатый персонаж. Что он на самом деле тут забыл?

Егор решает даже носком сапога не притрагиваться к нему. Отходит от него на пару шагов вперед, и когда уже туман начинает разъедать тело, Егор резко оборачивается – не думал же он шевелиться? Нет, тихо лежит.

Солнце, кажется, забралось повыше – и из серо-зеленого туман становится просто зеленым, начинает чуть флюоресцировать. Мгла, непроглядная еще мгновение назад, обретает какие-то новые глубины.

И проявляется впереди еще одно тело.

Егор сбивается с шага. Подходит к мертвому осторожно. Это тоже мужчина, тоже крепкого сложения, хоть и не такой гигант, как первый. Он выглядит тоже нехорошо: лицо вздулось, губы обметаны, глаза вытаращены. Известные признаки: надышался испарениями.

На этом надета футболка, а порток нет. И порток нет, и под портками ничего. Светит причиндалами, зад голый. Руки изодраны, ладони как будто шкуркой шкурили. Голова рассечена – но не глубоко. Умер не от этого.

– Здорово.

– Доброе утро.

– Тебя как звать?

– Допустим, Анатолий. А тебя?

– Допустим, Егор. Слушай, Анатолий… Это не ты того вон парня на мост загнал? Я уж не спрашиваю, почему вы оба без штанов…

Анатолий молчит. Не хочет больше Егору подыгрывать. Таращит на Егора свои глаза – голубые, белки все в кровяных прожилках. Егор не может в эти глаза смотреть дольше секунды, боится, что потом сниться будут. Начинает тошнить.

– Ладно, Анатолий. Это я так… Это шутка. У меня дела, я пойду, ладно?

Двое выбежали на мост, один за другим. Что там между ними было, реально? Один другого убить хотел?

С этой историей уже можно было бы вернуться и удивить всех, но Егор дал себе слово, что дойдет до того берега.

Там уже немного, наверное, идти осталось. Добраться до туда и вернуться с чистой совестью.

Он глядит под ноги и начинает считать шаги, чтобы убедить себя, что действительно продвигается в этом мороке, а не перебирает ногами на месте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь…

Шпалы исправно отъезжают ему за спину, марево откатывает с каждым шагом назад, Егор, ободренный, ускоряется… Пятнадцать, шестнадцать, семнадцать…

И видит впереди еще одного мертвого человека. Приглядывается… Нет, он там не один. Двое… Трое… Пятеро…

Он с останавливающимся сердцем, на ватных ногах приближается к ним. Тут несколько десятков человек распластаны на шпалах, вокруг рельс, везде. Сначала мужчины. Потом – вперемешку с ними женщины. За женщинами – мертвые дети. Не об руку с матерями, а будто брошенные ими и бежавшие вдогонку за взрослыми, но сами по себе.

Кто одет, кто раздет; на ком только обувь, на других одна шапка. Есть тут кто-то при сумках и при рюкзаках, но у некоторых сумки открыты и пусты. Многие изранены, у кого-то только ссадины. Одни зажмурились, другие выкатили

бельма. Все мертвы, и все умерли жуткой смертью.

И вот еще что, вдруг доходит до Егора.

Все они умерли совсем недавно – может, всего несколько дней назад.

Он переступает между вытянутыми руками, раскинутыми ногами; голова идет кругом. Случайно, приняв за бэкпэк, наступает на мягкое – маленькая девочка в куртке лежит навзничь, поджала под себя ручки и ножки.

Дальше идти у него не получается.

– Остановись.

– Стой.

– Возвращайся.

– Не смей.

– Тебе еще рано.

– Зря ты ей не поверил.

– Пока не поздно, Егор.

– Беги, пока не поздно.

Они теперь говорят с ним все вместе – хором, детские голоса и женские, старушечьи и мужские. Ему не приходится кривляться, чтобы озвучивать мертвецов – они как будто сами обрели свои голоса.

Егор загнанно озирается по сторонам. Туман светится все ярче и ярче. Мертвые лежат впереди на путях так далеко, на сколько можно заглянуть во мглу. Но берега там не видно.

Он отворачивается, и глядя только вниз, только себе под ноги, чтобы ни на кого не наступить снова, спотыкаясь, спешит назад.

А потом застывает.

Отходит на шаг в сторону. Опускается на корточки у мертвой некрасивой женщины, на которой нет ничего из одежды, но вокруг шеи намотана цепочка от дамской сумочки. Сама сумочка валяется рядом, она открыта.

А из нее выполз наполовину черный зеркальный прямоугольник.

Егор, не спрашивая у женщины разрешения, притрагивается к нему.

Айфон.

5.

За окном хлещет ливень.

Мишель сидит заплаканная, она все еще всхлипывает, пытается отдышаться. Слезы накатили приступом, и Саша не мог успокоить ее, как ни старался.

– Теперь ты будешь думать, что я истеричка.

Она улыбается и всхлипывает опять. Он улыбается ей тоже, по-доброму.

– Все бабы истерички.

– Ну, по крайней мере, я не хуже всех остальных…

Вместо того, чтобы утешать ее словами, он целует ее в уголок губ. Этого хватает. Она оборачивается к нему так, чтобы перехватить поцелуй.

– А на сколько вы едете?

– Я пока не знаю. Может, неделя. Может, две. Хорошо бы до Перми добраться, но можно и до Кирова на первый раз. Как пойдет.

– Не понимаю, зачем вам туда. Там ничего нету.

– Ну… Как зачем. Во-первых, это императорское задание. А во-вторых, наше дело как раз в том и заключается, чтобы земли за рекой обратно в империю вернуть.

– Вот прямо император сам, лично дал тебе приказ!

– Ну да. Так и было.

– Вызвал в Кремль и говорит…

– Не в Кремль. В резиденцию, на Старой площади.

– Ну и какой он, император?

– Какой… Ну… Лет ему пятьдесят. С бородой. Невысокий. С виду вроде обычный… Но, понимаешь, от него такая сила идет… Что невозможно не послушаться. И еще… Ну, убежденность просто невероятная. Он что ни говорит – ты со всем соглашаешься. Потому что видно – он ни одного слова не произносит такого, в которое бы не верил сам. Вот. Понял, что в нем главное: правда. И за эту правду он сам готов умереть. Поэтому и других может на смерть посылать. И тебе не страшно.

– Мне страшно.

– Да брось! Чего тут бояться! Вон, пришел же этот к вам юродивый с того берега. Говорит, ничего там такого нет, чего на этом бы не было. С войны сколько лет прошло. Все быльем поросло.

– Не знаю…

Ливень все шумит за окном; от него Мишель делается необычайно уютно внутри. Необычайно тепло и спокойно в руках этого мужчины. И очень не хочется, чтобы он размыкал объятия. Она прижимается к нему, прячется подмышкой, чувствуя

себя совсем маленькой девочкой. Спрашивает еще раз:

– А вы точно обратно через нас поедете?

Атаман усмехается.

– А других дорог до Москвы просто нет. Ваш мост через Волгу один остался. Так что да, поеду через вас.

– И тогда можно будет?

– Тогда…

Мишель отстраняется, смотрит на него с расстояния.

– Не подумай! Я тебе себя не навязываю. Ты просто до Москвы меня довези, а там я сама.

Кригов смеется в бороду.

– Я и не думаю ничего. Просто загадывать не люблю. Человек предполагает, а Бог располагает. Знаешь, как говорят.

– А я вот загадаю.

Атаман проводит пальцем по ее щеке, по мочке уха.

– Какая ты красивая…

– Нет, это ты красивый.

Он тянется к кисету, выбивает табак на старую тысячерублевку; сворачивает самокрутку. Чиркает, прикуривает.

– С удовольствием подвезу тебя до Москвы. Если вернусь.

– Вернешься.

Мишель отнимает у него дымную папиросу, кладет ее в блюдце-пепельницу и сбрасывает с плеч покрывало.

6.

Мобильник лежит у Егора в сухом внутреннем кармане. Прячется от дождя. Телефон работает – но требует от Егора чего-то неизвестного, в себя не пускает. И все равно – Егор чувствует себя так, как будто с ним чудо случилось. Оно и случилось, в принципе.

Туман ползет следом за ним, обратно прячет от Егора мертвых людей. Через минуту-другую ничего опять не видно, кроме рельсов и шпал, кроме ржавеющих ферм моста, которые сквозь мглу кажутся ногами гигантских существ.

О том, что он нашел на мосту, Егору думать слишком страшно. И он думает о том, как вручит Мишель айфон. Конечно, сначала надо будет зарядить его, ну или починить… Попросить Кольку Кольцова, чтобы он стер с него все, что там было… Зачем Мишель чужие фотографии… Тем более фотографии чужого мертвеца…

Потом ему приходит в голову: а вдруг там, на телефоне, есть снимки того, от чего все эти люди бежали?

Они ведь бежали с той стороны, бежали от какого-то невообразимого ужаса, от какого-то беспредельного зла, их гнало оттуда нечто настолько кошмарное, что мужчины бросали своих женщин, а женщины – своих детей, и каждый думал только о своей собственной шкуре.

Его начинает трясти – может быть, просто потому что он промок насквозь, и ветер теперь от этого стал пронзительней. Хотя кажется, что холод идет не снаружи, а изнутри. Прямо от костей.

Может быть… Может быть, их надо сначала рассмотреть? Изучить, а потом уже стереть и подарить Мишель пустой чистый телефон, размагниченный от чужих воспоминаний. Без багажа. Пускай перекачивает на него свою Москву, свою

музыку, пускай и дальше любуется всем этим на расстоянии, а живет пусть тут, с ними, на Посту.

Да, так точно правильней.

Хотя, если честно, смотреть фотографии в телефоне не хочется.

Когда Егор еще раз пытается представить себе, что на них может быть, рука так и тянется зашвырнуть мобильник в реку. Но он перебарывает себя. Нет. Ему этот телефон достался не просто так. Он его заслужил, заработал. Это его единственный, может, шанс, перебить этого хлыща-атамана с его байками о том, как расцвела столица. Его единственный пропуск к сердцу Мишель. Другого не будет.

И тут мысли у него перескакивают на другое.

Ведь и Кригов, и все его эти казаки собираются – Когда? Сегодня-завтра? – отправляться в экспедицию. На мост. За мост. На тот берег… Туда.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/ru/dmitriy-gluhovskiy/post

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить